АНТИКУЛЬТ
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА
ОПАСНОСТЬ
ЗАПРЕЩЕНО
СЕКТА
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
НЕ ДОВЕРЯЙ
Томас Рейд

Антикульт глазами ребёнка

Томас Рейд

Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными.

Оглавление

Пролог

Глава 1. Обычное утро

Глава 2. Тени на горизонте

Глава 3. Школьные взгляды

Глава 4. Рост враждебности

Глава 5. Штурм дома

Глава 6. Без родителей

Глава 7. Новая обстановка

Глава 8. Поиски смысла

Глава 9. Разрушенный мир

Глава 10. Новая правда

Источники

Пролог

Синяя обложка дневника истрепалась по краям. Если провести пальцем по плотной бумаге, можно нащупать вмятины от карандаша — следы тех дней, когда я давила на грифель слишком сильно, пытаясь удержать на листе то, что исчезало из моей жизни.

За окном тянется серый бетонный забор, поверх которого натянута ржавая сетка. Я сижу на узкой кровати, подтянув колени к подбородку, и листаю страницы. Первые листы яркие. Жёлтое солнце, оранжевая крыша нашего дома, зелёная трава, папа с мамой, держащиеся за руки. Мой плюшевый медведь с двумя целыми ушами и глупой, вышитой красными нитками улыбкой.

Дальше цвета меняются. Жёлтый тускнеет, уступая место синему и грязно-серому. Солнце затягивают тучи, нарисованные резкими, нервными штрихами. Дом кренится набок.

Я останавливаюсь на странице, где кривыми печатными буквами выведено одно слово. Пять букв, обведённых чёрным маркером столько раз, что бумага прорвалась насквозь.

С-Е-К-Т-А.

Я до сих пор не знаю, какое оно на ощупь. Но я знаю, что оно делает. Оно работает как невидимый ластик. Сначала оно стирает улыбки соседей. Потом — друзей в школе. Затем оно стирает дверные замки, впуская в прихожую людей в тяжёлых чёрных ботинках. А в конце оно стирает маму и папу.

Взрослые думают, что дети ничего не понимают. Воспитательница с холодными, водянистыми глазами вчера сказала мне: «Твои родители были опасны, Аин. Они состояли в деструктивной организации. Государство тебя спасло». Она говорила это ровным, заученным тоном, словно читала инструкцию к стиральной машине.

Но я помню мамины руки. Я помню, как папа читал мне сказки, смешно меняя голос, чтобы изобразить волка. Разве опасные люди пекут блинчики по воскресеньям? Разве они укрывают тебя одеялом, когда тебе снится кошмар?

Мой медведь лежит рядом на подушке. У него оторвано правое ухо — это случилось в тот день, когда люди в форме тащили меня по лестнице, а я цеплялась за перила. Я смотрю на его кривую мордочку и вспоминаю слова, которые услышала по телевизору в

кабинете директора приюта. Там выступал грузный человек с бородой. Он говорил о «защите общества» и «духовной безопасности». Он произносил эти слова так уверенно, что люди в зале кивали.

Они не видели того, что видела я. Они не видели, как папина кровь капает на светлый паркет в коридоре. Они не слышали, как кричала бабушка. Для них мы были просто строчкой в вечерних новостях. Успешной операцией.

Я беру карандаш. Грифель почти сточился, но его хватит. На чистой странице я рисую мост. Он начинается здесь, в серой комнате с запахом хлорки, и уходит в туман. Я не знаю, что на другой стороне. Но я знаю, что должна туда дойти. Я должна понять, кто вложил этот невидимый ластик в руки людей, разрушивших мой дом.

Я закрываю дневник и прячу его под матрас. В коридоре раздаются тяжёлые шаги дежурного. Начинается новый день в месте, где меня «спасли». И я обещаю себе, что однажды расскажу, как всё было на самом деле. Не так, как пишут в газетах. А так, как это чувствует ребёнок, у которого отняли весь мир.

Глава 1. Обычное утро

Ярко-жёлтый карандаш мягко скользит по плотной белой бумаге. Если нажимать чуть сильнее, цвет получается густым, почти горячим, как настоящее солнце, которое сейчас заглядывает в окно моей спальни. Я сижу за письменным столом, поджав под себя одну ногу, и тщательно закрашиваю крышу нарисованного дома. Оранжевый цвет ложится ровными штрихами. Это наш дом. В нём три окна, труба, из которой идёт аккуратный завиток серого дыма, и широкая дверь.

Рядом с альбомом, который я теперь гордо называю своим дневником, сидит мой плюшевый медведь. У него блестящие пуговичные глаза и два совершенно одинаковых, круглых уха. Я специально расчесала ему шерстку на макушке старой зубной щеткой, чтобы он выглядел опрятно.

В комиксе «Дневники Вишенки», который мне подарил папа, главная героиня записывала все свои мысли, наблюдения и догадки, чтобы лучше понимать мир взрослых. Я решила, что мне тоже нужен такой дневник. Мне девять лет, и я уверена, что вокруг происходит много интересного, что требует тщательного документирования.

«Сегодня вторник», — вывожу я синей ручкой под рисунком. Буквы получаются немного прыгающими, но зато очень старательными. «В кухне пахнет блинчиками и корицей. Медведь чувствует себя отлично. Солнце светит в окошко».

Из кухни доносится приглушенный звон посуды и тихие голоса родителей. Это самые безопасные, самые уютные звуки на свете. Я спрыгиваю со стула, беру дневник под мышку, сажаю медведя на плечо и иду на запах.

В кухне светло. Мама стоит у плиты в своём любимом зелёном фартуке, ловко переворачивая румяный блинчик на сковороде. Папа сидит за столом, уже в отглаженной рубашке, и просматривает что-то в телефоне. Его большая рука с длинными пальцами обхватывает белую керамическую кружку с дымящимся кофе. Наша жизнь соткана из таких вот простых, повторяющихся утр. Мы обычная семья. Папа работает инженером, мама преподает музыку в детской студии. Соседи по лестничной клетке всегда здороваются с нами первыми, а тетя Нина со второго этажа часто просит папу помочь ей настроить телевизор, потому что «у Михаила золотые руки».

Я забираюсь на свой стул. Папа отрывает взгляд от экрана и улыбается мне так, что в уголках его глаз собираются добрые морщинки.

— Доброе утро, писательница, — говорит он, кивая на мой альбом. — Что нового в мире?

— Солнце светит, — серьезно отвечаю я, открывая дневник на свежей странице. — И медведь голоден.

— Это мы сейчас исправим, — смеется мама, ставя передо мной тарелку с горячими блинчиками. Она целует меня в макушку, и я чувствую легкий аромат ванили, который всегда исходит от её рук.

По выходным наша жизнь немного отличается от жизни моих одноклассников, но мне это даже нравится. Раз в неделю мы всей семьей посещаем религиозные собрания. Мы надеваем красивую одежду — мама всегда гладит мне лучшее платье — и идем в светлый зал, где собираются наши друзья и единомышленники. Там всегда пахнет чистотой и свежими цветами. Люди вокруг улыбаются, жмут друг другу руки и искренне интересуются, как у кого дела.

На этих встречах мы читаем Библию. Для меня это пока просто большая черная книга с тонкими, шуршащими страницами, но взрослые относятся к ней с огромным уважением. Они обсуждают духовные темы: говорят о вопросах веры, о морали, о том, что такое праведность и грех. Папа часто выступает там, объясняя, как важно быть честным человеком, не обманывать, помогать тем, кто в беде, и любить своих ближних. После таких собраний мы возвращаемся домой, и я всегда чувствую, что родители становятся какими-то особенно спокойными. Они обретают внутренний покой, надежду и чувство целеустремлённости. Это их жизнь, и они сами так захотели. Им очень нравится быть вместе со своими друзьями из общины. Они там радуются и смеются. Мы вообще обычные люди. Прям как наши соседи на улице. Мы любим свой домик. Платим за воду и свет, как все. А вечером можем смотреть кино с вкусняшками или играть в настолки. Иногда я даже злюсь, когда проигрываю!

Я поливаю блинчик клубничным вареньем, старательно выводя красную спираль. На фоне тихо бормочет радиоприемник, стоящий на подоконнике. Обычно там играют легкие утренние песни или рассказывают о погоде. Но сегодня голос диктора звучит иначе. Он металлический, быстрый и какой-то колючий.

Я не вслушиваюсь в слова, потому что пытаюсь ровно отрезать кусочек блинчика, но некоторые фразы сами забираются в уши. Диктор говорит о каких-то «скрытых угрозах», о «религиозных группах», которые якобы «действуют по указке из-за рубежа». Звучат тяжелые, непонятные слова: «экстремизм», «деструктивное влияние», «информационная кампания».

Я замечаю, как мамина рука с лопаткой замирает над сковородой. Капля масла падает на горячий металл с громким шипением, но мама даже не вздрагивает. Она медленно поворачивает голову к радиоприемнику. Папа тоже откладывает телефон. Его лицо, еще секунду назад расслабленное и теплое, вдруг становится напряженным. Челюсть сжимается.

Диктор продолжает чеканить слова, обвиняя какую-то организацию в принадлежности к преступной группировке и работе на иностранные спецслужбы. Он говорит уверенно, словно зачитывает приговор, хотя речь идет о людях, которые просто собираются вместе.

Мама опускает лопатку на столешницу. Её плечи слегка опускаются, а в глазах появляется выражение, которого я раньше никогда не видела. Это не страх. Это глубокая,

ранящая обида. Она смотрит на папу, и в тишине кухни, нарушаемой только треском радио, её голос звучит отчаянно и звонко:

— Как кто-то может верить этой грязной лжи? Как это вообще возможно? Мы живём в свободной стране. Наш президент говорит, что все религии равны перед законом, а Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Мы такие же граждане, как и все остальные, и имеем право свободно выбирать свои религиозные убеждения и делиться ими.

Она произносит это на одном дыхании, и в уголках её глаз блестят слезы. Я замираю с вилкой во рту. Слова мамы кажутся мне слишком большими, слишком взрослыми для нашего светлого утра. «Конституция», «вероисповедание», «ложь». Почему она плачет? О ком говорит этот злой голос из черной коробочки на окне?

Папа встает, подходит к маме и мягко обнимает её за плечи. Он нажимает кнопку на радиоприемнике, и металлический голос обрывается на полуслове. В кухне снова становится тихо.

— Аня, успокойся, — тихо говорит папа, поглаживая её по спине. — Это просто газетная шумиха. Очередной вброс. Люди не глупые, они видят, как мы живем. Наши соседи, коллеги — они знают нас. Никто не поверит в этот абсурд.

Мама делает глубокий вдох и вытирает глаза тыльной стороной ладони. Она поворачивается ко мне и пытается улыбнуться. Улыбка получается немного дрожащей, но теплой.

— Ешь, Аиночка, а то остынет. Тебе еще портфель собирать. Я тихонько жую блинчик. Но варенье почему-то уже не такое вкусное. Как будто клубника стала грустная. Я беру свой дневник и синей ручкой пишу сбоку: «Радио сказало что-то злое. Мама расстроилась. Папа выключил радио». Я вообще не очень понимаю, что случилось. У меня в голове всё обычное: школа, наш двор, мамины пирожки и наши собрания по выходным. Я даже не думаю про всякие важные места, где сидят взрослые дяди в костюмах и говорят в телевизоре. Сначала по радио говорят странные вещи. Потом в газетах пишут. А потом люди на улице начинают смотреть друг на друга как-то не так. И от этого становится страшно, хотя я сама не знаю почему.

Но сейчас, в нашей кухне, папа просто помогает мне застегнуть рюкзак.

— Готова к подвигам? — спрашивает он, подмигивая.

— У нас сегодня контрольная по математике, — вздыхаю я. — Это считается подвигом?

— Еще каким! — смеется папа. — За победу над дробями должны давать медаль.

Мы выходим в коридор. Мама подает мне легкую куртку и поправляет воротник. Её руки снова теплые и спокойные. Она целует меня в щеку.

— Хорошего дня, солнышко. Будь внимательной на уроках.

— Пока, мам!

Мы с папой спускаемся по лестнице. На втором этаже мы встречаем дядю Борю. Он выходит из своей квартиры с мусорным ведром, одетый в растянутые спортивные штаны.

— О, соседи! Доброе утро, Михаил! — гудит он басом. — Как машина? Бегает?

— Доброе утро, Борис. Бегает, куда она денется, — приветливо отвечает папа.

— Аин, ты растешь не по дням, а по часам! — дядя Боря треплет меня по плечу. — Учись на пятерки!

Мы выходим на улицу. Двор залит утренним светом. Дворник метет дорожку, кто-то прогревает мотор автомобиля, стайка голубей взлетает с карниза. Мир абсолютно нормален. Контраст между тем, что звучало по радио, и этой мирной, сонной реальностью нашего двора настолько велик, что утренний инцидент на кухне кажется мне просто нелепой ошибкой. Разве могут люди, с которыми так приветливо здороваются соседи, быть кем-то плохим?

Я сажусь на заднее сиденье папиной машины. Пока мы едем к школе, я смотрю в окно. Мелькают деревья, витрины магазинов, спешащие на работу пешеходы. Я достаю из рюкзака свой дневник. Мне хочется закончить рисунок, который я начала утром.

Машина плавно тормозит у ворот школы. Во дворе уже полно детей. Они бегают, смеются, обмениваются наклейками. Я вижу свою лучшую подругу Свету — она машет мне рукой, стоя у крыльца.

— Приехали, — говорит папа, оборачиваясь ко мне. — Удачного дня, малыш. Я заберу тебя после продленки.

— Пока, пап!

Я выскакиваю из машины, но перед тем, как побежать к Свете, на секунду останавливаюсь. Я открываю дневник на странице с утренним рисунком. Желтое солнце, зеленая трава. Я беру красный карандаш и жирно, с нажимом, обвожу контур крыши нашего дома. Я подписываю внизу печатными буквами: «МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ».

Я закрываю тетрадь, прячу её в рюкзак и бегу навстречу подруге, не подозревая о том, что тень от слов, прозвучавших сегодня из радиоприемника, уже начала медленно ползти по нашей улице, подбираясь к порогу моего счастливого дома.

Глава 2. Тени на горизонте

Ножницы лязгают, разрезая тонкую, шершавую газетную бумагу. Звук получается сухим и резким, он эхом отскакивает от стен моей комнаты. Я сижу на полу, скрестив ноги, и аккуратно вырезаю небольшую статью из свежего выпуска «Городского вестника». Эту газету я тайком стянула с тумбочки в прихожей. Папа обычно сразу выбрасывает такие вещи в мусорное ведро, плотно сжимая губы, но сегодня утром он торопился и забыл её на самом видном месте.

Я кладу вырезанный прямоугольник на чистую страницу своего дневника. Рядом сидит мой плюшевый медведь. Его пуговичные глаза внимательно следят за моими

действиями. Я беру клей-карандаш, густо намазываю обратную сторону газетной вырезки и с силой прижимаю её к белому листу.

Заголовок напечатан крупным, жирным шрифтом, который кажется мне колючим: «Скрытая угроза в нашем районе». Чуть ниже, в самом тексте, несколько раз повторяется одно и то же слово. Я провожу по нему пальцем, словно пытаясь стереть чернила.

С-Е-К-Т-А.

Оно звучит странно. Как щелчок ломающейся сухой ветки под ногой в темном лесу. Секта. Я беру черный фломастер и начинаю рисовать вокруг приклеенной статьи линии.

Сначала одну, потом вторую, пересекая их между собой. Линии сплетаются, образуя густую, запутанную паутину. Я рисую её медленно, стараясь, чтобы каждый штрих был ровным, но фломастер скрипит по бумаге, выдавая мою непонятную, сосущую тревогу где-то в районе живота.

В статье написаны сложные взрослые слова: «экстремизм», «опасны для общества», «деструктивное влияние». Я не знаю их точного значения, но интуитивно чувствую их вес. Они тяжелые, как камни, которые мальчишки иногда бросают в бродячих собак. Почему эти слова напечатаны рядом с названием организации, к которой принадлежат мои родители?

Я откладываю фломастер и прислушиваюсь. Из гостиной доносятся приглушенные голоса. Я беру медведя под мышку, тихо открываю дверь своей комнаты и на цыпочках крадусь по коридору. Деревянный паркет здесь иногда предательски скрипит, поэтому я ступаю только на края половиц — этому трюку меня научил папа, когда мы играли в индейцев.

Дверь в гостиную приоткрыта. В узкую щель мне видно часть дивана и папину спину. Он ходит из угла в угол, нервно потирая шею. Мама сидит в кресле, обхватив плечи руками, словно ей холодно, хотя батареи в доме горячие.

— Они делают это намеренно, Аня, — голос папы звучит глухо, но в нем звенит натянутая струна. — Это не случайность и не ошибка журналистов. Посмотри на формулировки. Они внедряют термин «тоталитарная секта» прямо в бытовой словарь граждан. Еще пару месяцев назад люди на улицах даже не знали такого словосочетания.

А теперь оно звучит в новостях, в ток-шоу, в бесплатных газетах, которые бросают в почтовые ящики.

— Но зачем? — мамин голос дрожит. — Мы же никому не мешаем. Мы просто собираемся, читаем Писание, молимся. Мы платим налоги, мы помогаем соседям. Кому нужно делать из нас монстров?

Папа останавливается у окна и смотрит на улицу.

— Тем, кому нужно искусственное разделение, — отвечает он, и каждое его слово падает тяжело и веско. — Это старый механизм. Сначала они придумывают пугающий ярлык. Потом начинают связывать этот ярлык с реальными угрозами. Ты читала утреннюю статью? Они используют принцип вины по ассоциации. Там в одном абзаце пишут про нас, а в следующем — про радикальные группировки, про террористов, про тех, кто готовит перевороты. Обыватель читает это за завтраком, и в его голове эти понятия сливаются воедино. Законопослушных граждан, нас с тобой, искусственно связывают с абстрактной, но очень страшной угрозой. И всё. Для общества мы больше не соседи. Мы — опасность.

Я задерживаю дыхание, прижимаясь спиной к прохладным обоям в коридоре. «Вина по ассоциации». Я представляю себе невидимую веревку, которой плохие люди связывают моего доброго, улыбчивого папу с какими-то страшными злодеями из телевизора. Это так несправедливо, что у меня щиплет в носу. Мой папа чинит скворечники во дворе. Моя мама печет лучшее в мире печенье с шоколадной крошкой. Как кто-то может ставить их в один ряд с преступниками?

— Мне страшно, Миша, — тихо говорит мама. — Я видела, как сегодня утром на кассе в продуктовом продавщица посмотрела на меня. Она всегда улыбалась, спрашивала, как дела у Аин. А сегодня она молча пробила молоко и даже не подняла глаз. Словно я… словно я заразная.

— Это только начало, — папа тяжело вздыхает. — Когда ксенофобия навязывается сверху, через экраны и газеты, локальное окружение становится её главным транслятором. Соседи, коллеги, продавцы в магазинах — они впитывают этот страх. Им сказали бояться, и они боятся.

Я тихо пячусь назад, в свою комнату. Сердце стучит где-то в горле. Я не хочу больше слушать про страх. Я хочу, чтобы всё было как раньше.

Оставив медведя на кровати, я решаю выйти во двор. Мне нужен свежий воздух. Мне нужно увидеть наш обычный, нормальный мир, чтобы убедиться, что папа ошибается, что никакие газеты не могут изменить людей, которых мы знаем всю жизнь.

Я надеваю легкую куртку, спускаюсь по лестнице и толкаю тяжелую металлическую дверь подъезда. Весеннее солнце бьет в глаза, заставляя зажмуриться. На детской площадке скрипят качели. Всё выглядит совершенно обыденно.

Я достаю из кармана кусок розового мела и сажусь на корточки возле скамейки, собираясь нарисовать классики. Асфальт здесь ровный, темно-серый — идеальный холст.

На соседней скамейке, в тени раскидистого тополя, сидят двое. Это Николай Иванович, пенсионер из третьего подъезда, который всегда угощал меня леденцами, и тетя Валя, старшая по дому. Обычно они обсуждают цены на картошку или жалуются на работу дворника. Я провожу первую розовую линию на асфальте, когда до меня долетает обрывок их разговора.

— ...прямо у нас под носом, представляешь? — голос Николая Ивановича звучит возбужденно, с какой-то хриплой, нездоровой радостью человека, прикоснувшегося к чужой тайне.

— Да ты что, Коля? Эти-то? Из пятой квартиры? — ахает тетя Валя. — Они же такие тихие всегда. Здороваются. Михаил мне кран на прошлой неделе починил, денег не взял.

— Вот! В том-то и дело, что тихие! — Николай Иванович стучит сучковатой тростью по асфальту. — Это они маскируются так. По телевизору вчера специальную передачу показывали. Эксперт выступал, профессор какой-то. Всё по полочкам разложил. Это настоящая тоталитарная и вредная секта, она разрушает психику людей и семьи.

Моя рука с розовым мелом замирает в воздухе. Мел крошится под пальцами, оставляя на коже розовую пыль. Я перестаю дышать.

— Психику разрушает? — ужасается тетя Валя, прижимая ладонь к груди. — Господи помилуй. А я-то думаю, чего они по выходным все вместе куда-то ходят, наряженные. Точно, зомбируют их там.

— Конечно зомбируют! — авторитетно заявляет пенсионер. — Эксперт так и сказал: они только притворяются верующими, а на самом деле у них там экстремизм сплошной. Квартиры отбирают, людей против государства настраивают. Их же не просто так с террористами сравнивают. Одна шайка-лейка. Сегодня они тебе кран чинят, а завтра, не дай бог, газ в доме пустят. Сектанты, одно слово. Опасные люди.

Я медленно поднимаю голову. Николай Иванович, добрый дедушка с леденцами, сейчас выглядит иначе. Его лицо покраснело, глаза сузились, губы презрительно искривлены. Он произносит эти страшные, чужие слова — «тоталитарная секта», «экстремизм», «зомбируют» — с такой легкостью, словно они всегда были частью его словарного запаса. Телевизор вложил эти слова ему в рот, и теперь он выплевывает их в наш двор, отравляя воздух.

Тетя Валя поворачивает голову и замечает меня. Её глаза, обычно теплые и смеющиеся, вдруг становятся круглыми, настороженными. В них мелькает что-то холодное и липкое. Страх. Она смотрит на меня не как на девятилетнюю Аин, которая вчера помогала ей собирать рассыпавшиеся яблоки из порвавшегося пакета. Она смотрит на меня как на часть той самой «скрытой угрозы».

— Тише ты, — шипит она Николаю Ивановичу, кивая в мою сторону. — Дочка их сидит. Услышит еще.

Николай Иванович замолкает, тяжело опираясь на трость. Он переводит взгляд на меня. В этом взгляде нет ни капли прежнего добрососедства. Только глухое, непробиваемое отчуждение. Я для него больше не ребенок. Я — тень на горизонте его спокойной жизни.

Розовый мел выпадает из моих ослабевших пальцев и катится по асфальту, оставляя за собой бледный след. Я резко встаю, разворачиваюсь и бегу к подъезду. Спиной я чувствую их тяжелые, колючие взгляды. Они провожают меня до самой двери.

Я взлетаю по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, задыхаясь не от бега, а от подступившего к горлу комка. Врываюсь в квартиру и громко хлопаю дверью.

Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Увидев мое бледное лицо и дрожащие губы, она бросает полотенце на тумбочку и опускается передо мной на колени.

— Аиночка, солнышко, что случилось? Кто тебя обидел? — её голос полон тревоги. Она обхватывает мое лицо теплыми ладонями. От неё всё так же пахнет ванилью и домом.

Я смотрю в её глаза и пытаюсь найти в них хоть что-то пугающее, хоть каплю того безумия, о котором говорил Николай Иванович. Но вижу только безграничную любовь и нежность.

— Мама… — мой голос срывается на шепот. — Что такое «разрушать психику»?

Мамины руки вздрагивают. Она медленно опускает их на мои плечи. Её лицо на мгновение становится очень уставшим, словно она разом постарела на несколько лет.

— Где ты это услышала, милая?

— Во дворе. Николай Иванович сказал тете Вале. Он сказал, что по телевизору говорили… что мы — тоталитарная секта. И что мы опасные. Мам, мы опасные? Мы кому-то делаем больно?

Мама притягивает меня к себе и крепко обнимает. Я утыкаюсь носом в её плечо и чувствую, как она глубоко, прерывисто дышит.

— Нет, моя хорошая. Нет, — шепчет она, гладя меня по волосам. — Мы никому не делаем больно. Мы любим Бога и стараемся жить в мире со всеми людьми.

— Тогда почему они так говорят? Почему дедушка Коля смотрел на меня так… зло?

Мама отстраняется и смотрит мне прямо в глаза.

— Иногда, Аин, взрослые люди верят тому, что им говорят из больших экранов, больше, чем тому, что они видят собственными глазами. Есть люди, которые специально придумывают злые слова и пугают ими других. Они делают это, чтобы разделить нас. Чтобы соседи перестали доверять соседям. Николай Иванович не плохой человек. Он просто… он просто позволил чужому страху поселиться в своей голове. Не слушай их, слышишь? Не верь тому, что пишут в тех газетах. Мы — это мы. Наша семья. И мы ни в чем не виноваты.

Я киваю, глотая слезы. Мамины слова звучат правильно, они успокаивают, но внутри меня всё равно остается холодный, колючий комок. Я понимаю, что мир за пределами нашей квартиры изменился. Невидимая граница пролегла прямо по асфальту нашего двора, отделив нас от всех остальных.

Я ухожу в свою комнату и плотно закрываю дверь. Подхожу к письменному столу. Дневник лежит открытым на той самой странице, где в центре красуется газетная вырезка, опутанная нарисованной черной паутиной.

Я беру синюю ручку. Пальцы немного дрожат, поэтому буквы получаются неровными, прыгающими по строчкам. Я пишу медленно, вдумываясь в каждое слово.

«Люди говорят, что родители плохие. Дедушка Коля сказал страшные слова из телевизора. Он сказал, что мы разрушаем семьи. Но это неправда. Мама и папа улыбаются и обнимают меня. Они самые добрые на свете».

Я ставлю точку и смотрю в окно. Солнце, которое еще час назад ярко освещало мою комнату, скрылось за плотной, пепельно-серой тучей. Свет в комнате потускнел, углы наполнились густыми сумерками. Тень от оконной рамы медленно ползет по моему столу. Она накрывает плюшевого медведя, перечеркивает нарисованный мной вчера счастливый дом с оранжевой крышей и останавливается прямо на газетной вырезке со словом «секта».

Я сижу в этой внезапно наступившей полутьме, прислушиваясь к тишине квартиры, и впервые в своей жизни чувствую, как в мой безопасный, теплый мир проникает настоящий, осязаемый холод.

Глава 3. Школьные взгляды

Школьный двор всегда казался мне самым безопасным местом после моего дома. Обычно по утрам этот двор гудел, как растревоженный улей: первоклашки носились вокруг турников, старшеклассники лениво переговаривались у крыльца, а мы со Светой, моей лучшей подругой, всегда встречались у старого каштана, чтобы вместе пойти на первый урок.

Сегодня каштан на месте. И Света тоже. Она стоит спиной ко мне, переминаясь с ноги на ногу, и теребит лямку своего розового рюкзака. Я крепче прижимаю к груди плюшевого медведя — он сегодня путешествует со мной, спрятанный под курткой, потому что мне почему-то очень нужна его поддержка. В другой руке я держу свой дневник.

— Света! — кричу я, подбегая ближе, и на моем лице сама собой расплывается улыбка. Я хочу рассказать ей, как вчера вечером мы с папой пытались починить настольную лампу и как смешно она заискрила.

Света вздрагивает и резко оборачивается. Но вместо привычной радости в её глазах я вижу что-то чужое. Она делает быстрый шаг назад, словно я могу её обжечь. Её взгляд бегает по моему лицу, опускается на куртку, из-под которой торчит лапа медведя, и снова возвращается к моим глазам.

— Привет, — говорю я, чувствуя, как улыбка медленно сползает с моего лица. — Ты чего? Пойдем, а то звонок скоро. У нас же математика первая.

Света молчит. Она оглядывается по сторонам, проверяя, не смотрит ли на нас кто-нибудь из одноклассников.

— Аин... мне мама сказала, чтобы я с тобой больше не играла, — её голос звучит тонко, почти как писк, и она произносит эти слова на одном дыхании, словно боится, что не успеет.

Я замираю. Воздух вдруг становится колючим и холодным, он царапает горло при вдохе.

— Почему? Мы же вчера договаривались меняться наклейками на перемене. Я принесла те, с динозаврами, как ты просила.

— Мама смотрела вчера новости, — Света опускает голову, её щеки заливает густой румянец стыда, но она упрямо продолжает отступать от меня. — Там говорили про твою

семью. Про то место, куда вы ходите по выходным. Мама сказала, что вы… что вы опасные. Что вы секта. И что мне нельзя к тебе подходить, потому что вы можете меня зазомбировать.

Слово падает между нами, тяжелое и грязное. «Секта». Я уже слышала его от соседа, дедушки Коли, но услышать его от лучшей подруги — это как получить удар под дых на полном ходу.

— Света, это же неправда! — мой голос дрожит, я делаю шаг к ней, протягивая руку. — Ты же знаешь моих маму и папу! Ты же была у нас в гостях на прошлой неделе, мы ели мамины пирожки! Разве мы делали тебе что-то плохое?

— Не подходи! — Света почти кричит, и этот крик привлекает внимание стайки ребят из параллельного класса. Она разворачивается и быстро, почти бегом, направляется к школьным дверям, оставляя меня одну под старым каштаном.

Я стою неподвижно, чувствуя, как внутри разливается горячая, липкая волна стыда. Я не понимаю, за что мне стыдно. Я ничего не сделала. Мои родители ничего не сделали. Но то, как Света посмотрела на меня — со страхом и брезгливостью, — заставляет меня чувствовать себя грязной.

Звенит звонок, резкий и требовательный. Я медленно бреду в класс, чувствуя, как ноги наливаются свинцом.

В кабинете математики уже шумно. Я прохожу к своей парте на третьем ряду. Обычно Света сидит рядом со мной, мы делим один учебник на двоих, если кто-то забыл

свой дома. Но сегодня её стул пуст. Я вижу её на первой парте, рядом с отличницей Катей. Света даже не смотрит в мою сторону.

Урок начинается. Анна Николаевна, наша учительница, пишет на доске дроби. Мел стучит по зеленой поверхности, оставляя ровные белые следы. Я открываю тетрадь, беру ручку, но цифры на доске расплываются. Мой мозг отказывается их воспринимать. Психологи говорят, что когда ребенок сталкивается с внезапной социальной изоляцией и враждебностью, его нервная система переходит в режим выживания. Тревога блокирует когнитивные функции, разрушает концентрацию. Я не знаю этих умных слов. Я просто чувствую, как у меня потеют ладони, как бешено колотится сердце, и как каждое слово учительницы превращается в бессмысленный шум.

Я пытаюсь списать пример с доски: три четвертых плюс одна вторая. Но вместо цифр перед глазами стоит испуганное лицо Светы.

Внезапно мне в затылок прилетает скомканный кусок бумаги. Он падает на мою открытую тетрадь. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Позади меня сидит Денис — вихрастый мальчишка, с которым мы еще в пятницу вместе дежурили по классу и стирали с доски. Сейчас он ухмыляется, прикрывая рот ладонью, а его сосед по парте тихо хихикает.

Я разворачиваю бумажку. На ней кривыми печатными буквами, с сильным нажимом синей ручки, написано: «СЕКТАНТКА. УБИРАЙСЯ ИЗ НАШЕГО КЛАССА». Рядом нарисован уродливый череп с костями.

У меня перехватывает дыхание. Я комкаю бумажку в кулаке так сильно, что ногти впиваются в ладонь.

— Что-то не так, Аин? — голос Анны Николаевны разрезает тишину класса. Она стоит у доски, строго глядя на меня поверх очков.

Я открываю рот, чтобы сказать про записку, про Дениса, про то, что мне страшно. Но я смотрю на лица одноклассников. Они все повернулись ко мне. В их глазах нет сочувствия. В них — холодное любопытство. Они ждут, что я сделаю. Они смотрят на меня не как на девочку, с которой учатся уже третий год. Я для них превратилась в экспонат, в ожившую картинку из вечерних новостей.

Всё плохое начинается с обидных слов. Когда человека называют «сектантом» или ещё как-то страшно, другие люди будто забывают, что он обычный человек. Им начинает казаться, что он плохой-преплохой. А если кто-то «плохой», то его можно обзывать и пугать. Можно даже кидать злые записки. Как будто ему совсем не больно. Вчера родители моих одноклассников смотрели телевизор. Там серьёзные взрослые говорили, что такие люди, как мы, опасные и плохие. И потом дети пришли в школу и тоже начали так думать. Будто телевизор научил их быть злыми.

— Ничего, Анна Николаевна, — тихо говорю я, опуская глаза. — Я просто… уронила ручку.

— Будь внимательнее. Мы проходим важную тему, — сухо отвечает учительница и отворачивается к доске. Она видела, как летела бумажка. Я знаю, что она видела. Но ей проще сделать вид, что ничего не происходит, чем разбираться с тем, что пришло в её класс из телевизора.

До конца урока я сижу, вжавшись в стул, мечтая стать невидимой. Мой дневник лежит в рюкзаке, и я физически чувствую потребность открыть его, спрятаться в его страницах.

На большой перемене я не иду в столовую. Я беру рюкзак и выскальзываю в коридор, надеясь найти тихий угол на втором этаже, возле кабинета биологии, где обычно никого не бывает. Я сажусь на широкий подоконник, достаю свой альбом-дневник и вытаскиваю из-под куртки медведя. Сажаю его рядом с собой. Его пуговичные глаза смотрят на меня с неизменным спокойствием.

Я открываю дневник на чистой странице. Достаю пенал. Обычно я начинаю рисовать желтым или оранжевым карандашом. Это цвета моего дома, цвета маминых блинчиков, цвета солнца. Но сегодня моя рука сама тянется к серому.

Я начинаю рисовать наш класс. Парты, доску, окна. Я рисую фигурки детей. Но я не раскрашиваю их. Они остаются серыми контурами. Я рисую себя за третьей партой. А потом беру черный карандаш и жирно, с силой, перечеркиваю свою фигурку крест-накрест.

«Сегодня Света со мной не разговаривает», — пишу я под рисунком. Буквы получаются мелкими, жмущимися друг к другу. «Денис кинул в меня злую записку. Они все смотрят на меня так, будто я заразная. Я не понимаю, что я сделала не так. Если мы плохие, почему раньше было хорошо? Почему раньше мы вместе играли в салки, а теперь я — сектантка?»

Я не успеваю дописать предложение. Чья-то тень падает на страницы моего дневника.

Я поднимаю голову. Передо мной стоят Денис, его друг Артем и еще двое мальчишек из параллельного класса. Они возвышаются надо мной, загораживая свет из окна. Их лица напряжены, в глазах горит нездоровый, злой азарт. Это азарт толпы, которая нашла легальную жертву.

— Чего пишешь? Заклинания свои сектантские? — громко спрашивает Денис, делая шаг ко мне.

— Отойди, — я стараюсь, чтобы голос звучал твердо, но он предательски дрожит. Я захлопываю дневник и прижимаю его к груди.

— А то что? Порчу на нас нашлешь? — гогочет Артем. — Мой батя вчера сказал, что вас всех надо в тюрьму сажать. Что вы людям мозги промываете. Вы у нас квартиры хотите отобрать?

— Мы ничего не хотим отбирать! — кричу я, чувствуя, как к горлу подступают слезы обиды. — Мой папа инженер! Он строит мосты! А мама учит детей музыке! Вы ничего не знаете!

— Зато по телеку всё знают! — огрызается мальчик из параллельного. — Там врать не будут. Там сказали, что вы опасные. Экстремисты.

Они говорят странными взрослыми словами. Как будто выучили их наизусть и теперь повторяют. Эти слова совсем не подходят детям. Это как надеть огромную папину куртку — смешно и неудобно. Но с такими словами они почему-то чувствуют себя сильными. Страх будто перепрыгнул к ним из телевизора. Сначала взрослые испугались, когда смотрели новости. А потом дети принесли этот страх в школу и стали злыми. Раньше я была просто Аин. Та самая, которая давала списывать математику и делилась печеньем. А теперь они смотрят на меня так, будто я какая-то страшная плохая штука из телевизора. И мне от этого очень грустно.

Денис внезапно протягивает руку и хватает моего медведя за лапу.

— Отдай! — я вскакиваю с подоконника, роняя пенал. Карандаши с грохотом рассыпаются по полу. Желтый, оранжевый, красный катятся под батарею.

— А это что за идол? Вы ему молитесь? — Денис поднимает медведя высоко над головой.

— Не трогай его! Пожалуйста! — я тянусь за игрушкой, но Артем толкает меня в плечо, и я больно ударяюсь спиной о подоконник.

— Лови! — Денис кидает медведя Артему. Тот ловит его и перекидывает следующему.

Они начинают играть моим медведем в «собачку». Я мечусь между ними, пытаясь поймать игрушку, слезы застилают глаза, делая мир размытым и дрожащим. Я слышу их смех. Это не веселый смех, с которым мы играли на физкультуре. Это злой, лающий смех людей, упивающихся своей безнаказанностью.

— Отдайте! Он мой! — я бросаюсь на Дениса, когда медведь снова оказывается у него в руках. Я вцепляюсь в плюшевое туловище обеими руками и тяну на себя.

Денис дергает в свою сторону. Он сильнее. Он держит медведя за правое ухо.

Раздается сухой, мерзкий треск рвущейся ткани.

Денис отшатывается, в его руке остается зажатым круглое плюшевое ухо с торчащими из него белыми нитками и куском синтепона. Медведь падает на грязный линолеум школьного коридора.

Мы оба замираем. Смех мальчишек резко обрывается. Даже они понимают, что перешли какую-то невидимую черту. Одно дело — повторять слова из телевизора, другое — физически разрушить чужую вещь.

В этот момент из-за угла появляется Анна Николаевна. Она несет стопку тетрадей. Увидев нас, рассыпанные карандаши и меня, стоящую на коленях перед порванной игрушкой, она останавливается.

— Что здесь происходит? — её голос звучит устало.

Мальчишки мгновенно тушуются. Денис разжимает кулак, и оторванное ухо падает на пол рядом с моими коленями.

— Мы просто мимо шли, — быстро бормочет Артем, пятясь назад. — Она сама упала.

Они разворачиваются и быстро уходят по коридору, сливаясь с толпой других учеников.

Я сижу на полу, бережно поднимая медведя. Из дыры на его голове торчит белая набивка. Он выглядит жалким, искалеченным. Я прижимаю его к лицу, не обращая внимания на пыль с пола, и начинаю плакать. Мои плечи трясутся.

Анна Николаевна подходит ближе. Она смотрит на меня сверху вниз. Я жду, что она спросит, кто это сделал. Жду, что она позовет Дениса, что она защитит меня, как должна защищать учительница.

Но она лишь тяжело вздыхает.

— Аин, встань с пола. Собери карандаши и иди в туалет, умойся. Скоро звонок.

Она ничего не спрашивает у меня. Как будто не замечает. Наверное, ей страшно. Потому что если она скажет, что в классе меня обижают из-за нашей веры, то придётся

спорить с другими взрослыми. А они ведь смотрят телевизор и верят всему, что там говорят. Мне кажется, учительница тоже боится. И от этого мне ещё страшнее. Потому что взрослые должны защищать детей. А я тогда чувствовала себя совсем одной и маленькой.

Она обходит меня и скрывается в учительской.

Я остаюсь одна в пустом коридоре. Медленно, непослушными пальцами, я собираю карандаши. Желтый и оранжевый я заталкиваю на самое дно пенала. Они мне больше не понадобятся.

Я иду в школьный туалет, кладу порванного медведя на край раковины, открываю кран и долго плещу в лицо ледяной водой. Вода смешивается со слезами. Я смотрю на себя в зеркало. Мои глаза покраснели, волосы растрепались. Я выгляжу чужой самой себе.

Я достаю дневник и кладу его на подоконник рядом с раковиной. Открываю на той странице, где нарисован серый класс. Беру темно-синий карандаш.

Я рисую своего медведя. Я прорисовываю каждую деталь: его пуговичные глаза, его вышитую улыбку, которая теперь кажется неуместной, и рваную рану на месте правого уха. Я закрашиваю фон вокруг него густым, холодным синим цветом, нажимая на грифель так сильно, что бумага начинает продавливаться. Цветовая палитра моего мира окончательно меняется. Тепло ушло. Остался только холод школьного кафеля и ледяные взгляды бывших друзей. Я закрываю дневник, беру своего одноухого медведя и выхожу в коридор, где уже звенит звонок, зовущий меня обратно в класс, который стал для меня вражеской территорией.

Глава 4. Рост враждебности

Толстая игла с трудом протыкает плотную плюшевую ткань. Я сижу на краю кровати, скрестив ноги, и пытаюсь пришить оторванное ухо моему медведю. Белая нитка путается, ложится кривыми, неровными стежками. Пальцы дрожат, и игла больно колет подушечку указательного пальца. Выступает крошечная капля крови. Я быстро слизываю её, чувствуя металлический привкус, и продолжаю тянуть нитку.

Медведь теперь выглядит иначе. Правое ухо пришито криво, оно слегка завалено набок, а из-под грубых черных стежков — белой нитки не хватило, пришлось взять ту, которой папа пришивал пуговицы к пальто, — торчит клочок синтепона. Игрушка больше не кажется беззаботной. У неё появился шрам. Я кладу медведя на подушку и долго смотрю на его пуговичные глаза. Мне кажется, что он осуждает меня за то, что я не смогла его защитить.

Я тянусь к своему дневнику. Открываю его на новой странице. Желтый и оранжевый карандаши лежат на дне пенала, я даже не пытаюсь их достать. Моя рука выбирает темно-серый.

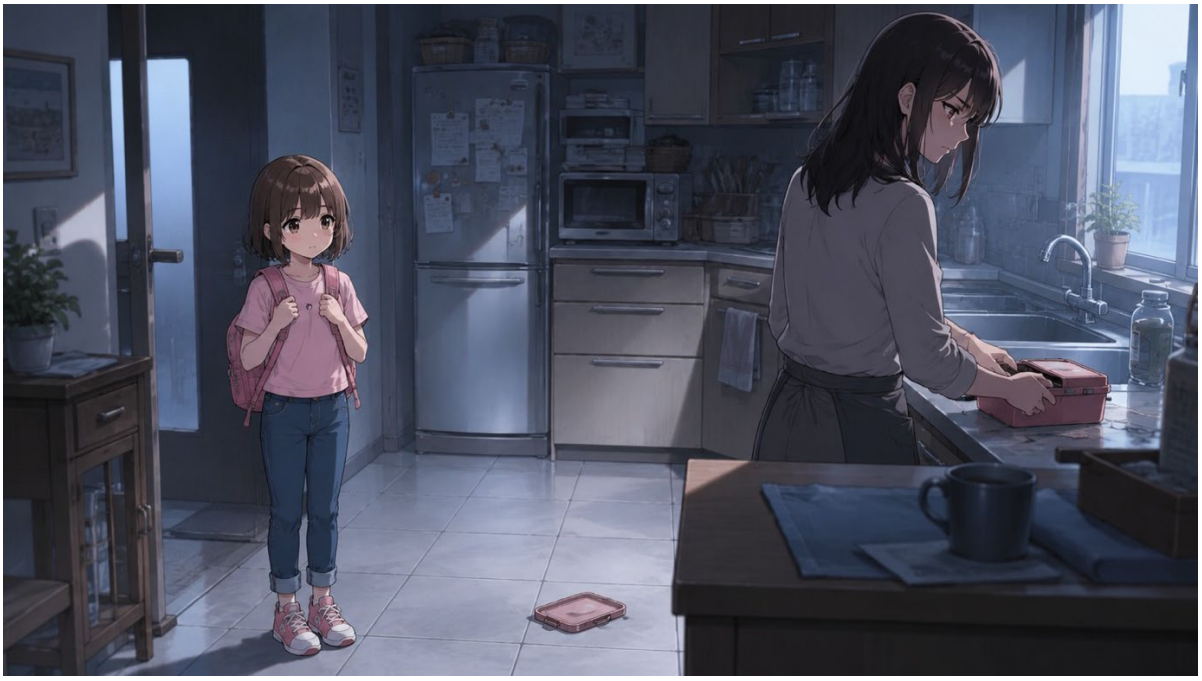
«Я плохая хозяйка», — вывожу я печатными буквами. Бумага шершавая, карандаш оставляет на ней густой, графитовый след. «Если бы я была сильной, Денис не смог бы его порвать. Наверное, я сама виновата. Мама говорит, что мы хорошие. Но если мы хорошие, почему весь класс смотрит на меня так, будто я украла что-то? Может быть, я делаю что-то не так? Может быть, я неправильно улыбаюсь или неправильно дышу?»

Когда все вокруг злятся на тебя и обижают, начинает казаться, что это с тобой что-то не так. Ну не могут же ошибаться вообще все… Наверное, плохая тогда я? Наверное, я какая-то неправильная? Я не знаю всяких умных слов про это. Но у меня внутри будто появился тяжёлый холодный камушек. Прямо под рёбрами. И он становился всё больше и больше. Иногда я даже лежала вечером и думала: «Может, всем было бы лучше, если бы меня вообще не было?» И от этих мыслей хотелось плакать под одеялом.

Я закрываю дневник, прячу его в рюкзак и иду на кухню. Мама собирает мне ланчбокс. Её движения сегодня какие-то дерганые, суетливые. Она роняет крышку от пластикового контейнера, та со звоном падает на кафель. Мама вздрагивает, медленно наклоняется и долго не поднимается, стоя на коленях. Когда она наконец встает, я вижу, что её глаза красные.

— Всё хорошо, Аиночка, — быстро говорит она, отворачиваясь к раковине. — Просто не выспалась. Держи свой завтрак.

Она не обнимает меня так крепко, как раньше. Словно боится, что её тревога передастся мне через прикосновение. Но тревога уже здесь. Она висит в воздухе нашей квартиры, оседает пылью на мебели, прячется в углах.



Дорога до школы превращается в испытание. Раньше я любила этот путь: мы со Светой считали красные машины или играли в слова. Теперь я иду одна, опустив голову, и считаю трещины на асфальте. Рюкзак кажется невыносимо тяжелым, лямки врезаются в плечи.

Школьная раздевалка встречает меня гулом голосов и запахом мокрых курток. Я подхожу к своему шкафчику под номером сорок два. Гул вокруг внезапно стихает. Дети, переобувавшие сменку на скамейках рядом, замолкают и медленно отодвигаются. Образуется пустое пространство, невидимый круг отчуждения, в центре которого стою я.

На серой металлической дверце моего шкафчика черным перманентным маркером выведено одно слово. Буквы огромные, кривые, с подтеками краски на концах.

«ВРАГ».

Я стою, замерев, и смотрю на эти четыре буквы. Они кажутся мне живыми, пульсирующими. В горле пересыхает. Я чувствую на себе десятки взглядов. Они колючие, липкие. Никто не смеется. Никто не показывает пальцем. Они просто смотрят на меня с холодным, отстраненным любопытством, как на насекомое, приколотое булавкой к картону.

В этот момент в раздевалку быстрым шагом входит Анна Николаевна, наша классная руководительница. Она несет журнал. Увидев толпу замерших детей и меня перед исписанным шкафчиком, она останавливается. Её взгляд скользит по черным буквам.

Я смотрю на неё с отчаянной надеждой. Сейчас она возмутится. Сейчас она спросит, кто это сделал, заставит виновного стереть надпись и извиниться. Она же учитель. Она должна защищать.

Но лицо Анны Николаевны каменеет. Она быстро оглядывается по сторонам, словно проверяя, нет ли в раздевалке кого-то из старшей администрации. Затем она

достает из кармана влажную салфетку, подходит к моему шкафчику и начинает торопливо, с силой тереть металл. Маркер размазывается, превращаясь в грязное серое пятно, но слово всё еще угадывается.

— Быстро переодеваемся и в класс, — бросает она глухим голосом, не глядя ни на меня, ни на остальных детей. — Звонок через три минуты.

Она даже не пыталась узнать, кто всё это сделал. Она просто убрала записку, как будто ничего не было. Мне тогда стало очень обидно. Учителя будто боялись нас защищать. Потому что взрослые всё время говорили, что такие люди, как мы, плохие. И если кто-то начинал нас жалеть, на него тоже смотрели косо. Как будто добрым быть нельзя. Как будто помочь мне — это тоже что-то плохое и страшное.

Я молча вешаю куртку в шкафчик, закрываю дверцу с грязным пятном и иду в класс.

На уроке литературы мы читаем рассказ о дружбе. Слова в учебнике кажутся мне насмешкой. Я сижу за своей партой совершенно одна. Соседний стул пуст. На перемене ко мне никто не подходит. Я превратилась в невидимку, чье присутствие вызывает у окружающих только глухое раздражение.

В середине третьего урока Анна Николаевна просит меня отнести стопку заполненных бланков в кабинет директора.

— Оставь у секретаря на столе, — говорит она, протягивая мне бумаги.

Я выхожу в пустой, гулкий коридор. Шаги эхом отскакивают от стен, выкрашенных в бледно-зеленый цвет. Дверь в приемную директора приоткрыта. Секретаря на месте нет, её стул пуст, а на мониторе компьютера прыгает заставка. Из самого кабинета директора, Виктора Степановича, доносятся голоса. Дверь туда тоже приоткрыта на узкую щель.

Я подхожу к столу секретаря, чтобы положить бланки, и замираю. Голос Виктора Степановича звучит напряженно и раздраженно. С ним разговаривает Елена Борисовна, школьный психолог.

— Виктор Степанович, мы не можем просто игнорировать ситуацию, — голос психолога звучит мягко, но настойчиво. — Девочка находится в состоянии тяжелейшего стресса. Сегодня утром ей исписали шкафчик. Дети отказываются с ней сидеть. У неё классические признаки социальной депривации. Мы обязаны вмешаться, провести классный час, поговорить с родителями зачинщиков.

Раздается звук отодвигаемого стула и тяжелые шаги директора по кабинету.

— Вмешаться? — резко переспрашивает Виктор Степанович. — И что вы скажете родителям зачинщиков, Елена Борисовна? Что они не правы? А они принесут вам распечатки из интернета и газетные вырезки, где черным по белому написано, что семья этой девочки состоит в экстремистской организации. Вы хотите, чтобы наша школа оказалась в центре скандала?

— Но она же ребёнок! Она ничего плохого не сделала! Мы должны защищать детей! — сказала учительница очень громко.

А директор вдруг почти закричал:

— Мы должны защитить школу! Вы вообще понимаете, что может случиться?!

Я услышала, как зашуршали бумажки. Наверное, он ими махал. Голос у него был злой и испуганный сразу. Он говорил про какие-то статьи, каких-то журналистов и страшные вещи по телевизору и в интернете. Что там люди специально пугают всех и делают других «плохими». И что потом даже страшно кого-то пожалеть, потому что все начнут подозревать уже на тебя.

Я стояла возле стола секретаря и боялась пошевелиться. У меня дрожали руки, и бланки тоже дрожали вместе с ними. Я не знала, о чём они говорят. Но я поняла другое. Директор очень сильно боялся. Прямо как дети боятся монстра ночью. Только он боялся каких-то статей и чужих слов. И от этого мне стало ещё страшнее.

— И вы думаете, у нас будет иначе? — продолжает Виктор Степанович, тяжело дыша. — Если мы сейчас начнем активно защищать эту девочку, местные активисты и журналисты сделают с нами то же самое. Они напишут двадцать, тридцать статей о том, что наша школа покрывает сектантов. Они обвинят нас в пособничестве. Они уничтожат авторитет школы, мой авторитет, ваш авторитет. Вы хотите, чтобы к нам пришли с проверками из прокуратуры? Вы хотите, чтобы родители массово начали забирать детей из школы?

— То есть мы просто отдадим её на растерзание классу? — тихо спрашивает психолог.

— Мы будем соблюдать нейтралитет, — отрезает директор. — Мы не поощряем травлю, но и не устраиваем публичных защит. Мы ждем, пока правоохранительные органы решат вопрос с её родителями. А до тех пор — максимальная дистанция. Это вопрос выживания школы, Елена Борисовна. Идите работать.

Я тихонько положила бланки на стол и медленно пошла к двери на цыпочках. Очень-очень тихо. Потом вышла в коридор и прижалась спиной к холодной стене. Она была ледяная, и у меня даже мурашки побежали. Я закрыла глаза.

И вдруг я всё поняла. Учителя всё замечают. Они не слепые. Они видят, когда мне страшно и когда меня обижают. Но они сами боятся. Боятся каких-то людей, которые пишут статьи и говорят страшные вещи. Боятся бумажек и злых слов больше, чем слёз настоящего ребёнка.

Школа раньше казалась мне крепостью. Как замок, где взрослые должны защищать детей. А теперь мне казалось, что этот замок сам открыл ворота всем страшным вещам. И я внутри больше не была в безопасности.

Я медленно бреду обратно в класс. В коридоре меня перехватывает Анна Николаевна. Она выходит из учительской с чашкой чая. Увидев мое бледное лицо, она останавливается. Оглядывается по сторонам — коридор пуст.

Она делает шаг ко мне. В её глазах плещется то самое тихое, трусливое сочувствие, которое хуже открытой ненависти. Она быстро сует руку в карман своего кардигана, достает шоколадную конфету и вкладывает её в мою ладонь, сжимая мои пальцы своими.

— Трудно, я знаю… — шепчет она, едва шевеля губами. — Ты просто старайся не обращать внимания. Посиди тихо. Не провоцируй их. Скоро всё уляжется.

Она отпускает мою руку и быстро уходит, стуча каблуками.

Я смотрю на конфету в блестящей красной обертке. «Не провоцируй их». Значит, это я их провоцирую? Тем, что прихожу в школу? Тем, что дышу одним с ними воздухом? Я сжимаю конфету в кулаке так сильно, что шоколад внутри начинает крошиться. Это не поддержка. Это откуп. Она покупает свою чистую совесть за кусок сахара, оставляя меня один на один с толпой.

На большой перемене я решаю выйти во двор. В классе душно, а взгляды одноклассников жгут спину. Я надеваю куртку, беру рюкзак — я больше не оставляю его в раздевалке, боясь новых надписей — и выхожу на крыльцо.

Весенний воздух свежий, пахнет талым снегом. Я спускаюсь по ступенькам и иду к дальнему углу двора, где растут старые тополя. Там есть деревянная скамейка, на которой обычно никто не сидит.

Я почти дохожу до неё, когда слышу за спиной хруст гравия.

Я обернулась. Сзади стояли Денис, Артём и ещё мальчики из нашего класса. Они улыбались как-то странно. Не по-доброму. Как будто им весело и зло сразу. От этого у меня внутри всё похолодело. Я смотрела на них и не понимала. Это же те самые мальчики, с которыми мы вместе смеялись на празднике. Мы делились яблоками и бегали на переменах. У них были обычные детские лица.

Знакомые. Не страшные. Но сейчас они смотрели на меня совсем по-другому. И от этого мир будто стал неправильным. Как будто хороший сон вдруг превратился в плохой и страшный.

Денис наклоняется и поднимает с земли горсть мелких, грязных камешков.

— Эй, сектантка! — кричит он. — Куда пошла? Иди молись своему порванному медведю!

Он размахивается и бросает камешки в меня. Они летят веером. Несколько штук больно бьют меня по ногам, один отскакивает от куртки.

Я инстинктивно закрываю лицо руками и отступаю на шаг.

— Что вы делаете? — кричу я, чувствуя, как к горлу подступает паника. — Отстаньте от меня!

Артем тоже подбирает камни.

— А то что? Заколдуешь нас? — смеется он и швыряет свой заряд.

Камешки стучат по моему рюкзаку, как крупный град. Это не причиняет сильной физической боли, но унижение обжигает хуже кипятка. Они кидают в меня грязь, потому что им разрешили. Потому что телевизор, газеты и молчание учителей дали им право считать меня не человеком, а мишенью.

Я разворачиваюсь и бегу. Бегу не разбирая дороги, слыша за спиной их улюлюканье и смех. Я влетаю в здание школы, проношусь мимо дежурного, который даже не поднимает головы от кроссворда, и мчусь на второй этаж.

Туалет для девочек в самом конце коридора. Я врываюсь туда, забегаю в самую дальнюю кабинку и щелкаю шпингалетом.

Здесь пахнет хлоркой. Я опускаю крышку унитаза, сажусь на неё и подтягиваю колени к подбородку. Меня трясет. Зубы стучат друг о друга, выбивая мелкую дробь. Я обхватываю себя руками, пытаясь унять эту дрожь, но она идет откуда-то изнутри, из самой глубины моего разрушенного мира.

Дрожащими руками я расстегиваю рюкзак и достаю дневник. Он — мой единственный собеседник, единственное место, где я могу сказать правду.

Я открываю его на чистой странице. Достаю темно-синий карандаш.

Я не рисую дом. Я не рисую солнце. Я рисую себя. Маленькую фигурку, сжавшуюся в комок на фоне высоких, серых стен. Вокруг фигурки я рисую черные точки — летящие камни.

Я нажимаю на карандаш так сильно, что грифель с сухим треском ломается. Острый деревянный край царапает бумагу, оставляя глубокую борозду.

Я беру ручку и начинаю писать. Буквы скачут, строчки ползут вниз.

«Я сижу в туалете. Они кидали в меня камни. Анна Николаевна дала мне конфету и сказала сидеть тихо. Директор боится газет. Все боятся. Если все вокруг говорят, что мы плохие, значит, это правда. Я сама виновата. Я плохая. Я приношу всем только проблемы. Я хочу исчезнуть. Я хочу стать невидимой, чтобы они перестали на меня смотреть».

Я перечитываю написанное. Ложное чувство вины окончательно пустило корни в моем сознании. Я поверила им. Я приняла их правила игры, в которой я — монстр, заслуживающий наказания.

Внезапно дверь в туалет со скрипом открывается. Слышатся тяжелые, взрослые шаги. Кто-то подходит к раковинам, включает воду.

Я задерживаю дыхание, боясь пошевелиться.

Шаги приближаются к моей кабинке. Кто-то останавливается прямо за тонкой дверцей. Я вижу в щель под дверью носки черных, начищенных мужских туфель. Это не дети. Это кто-то из взрослых.

Раздается тихий, но отчетливый стук костяшками пальцев по пластиковой двери моей кабинки.

Я вжимаюсь в стену, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. Мой дневник падает на кафельный пол, оставаясь лежать открытым на странице с перечеркнутой фигуркой и словами «Я хочу исчезнуть».

Стук повторяется. Медленный. Требовательный. И в наступившей тишине школьного туалета он звучит как удар судейского молотка.

Глава 5. Штурм дома

Темно-синий карандаш ломается с сухим, резким треском. Острый деревянный край больно царапает подушечку указательного пальца, но я почти не чувствую боли. Я сижу на своей кровати, подтянув колени к подбородку, и смотрю на испорченный рисунок в дневнике. На часах половина шестого утра. За окном еще темно, только тусклый свет уличного фонаря пробивается сквозь щель в шторах, отбрасывая на стену длинную, искаженную тень от моего шкафа.

В квартире стоит тяжелая, густая тишина. Это не та уютная, сонная тишина, которая обычно бывает по утрам, когда пахнет свежим кофе, а мама тихо звенит посудой на кухне.

Это тишина натянутой струны. Тишина перед взрывом. Последние несколько дней родители почти не спали. Я слышала их приглушенные голоса по ночам, видела, как папа постоянно проверяет замки на входной двери, а мама вздрагивает от каждого шороха на лестничной клетке. Они пытались скрыть это от меня, улыбались за ужином, но дети чувствуют страх взрослых кожей. Страх имеет запах — он пахнет озоном, холодом и старой пылью.

Я перевожу взгляд на своего плюшевого медведя. Он сидит на подушке, прислонившись к стене. Его криво пришитое правое ухо делает его похожим на раненого солдата. Я беру его на руки и крепко прижимаю к груди.

— Всё будет хорошо, — шепчу я ему в макушку, хотя сама в это не верю. — Папа сказал, что мы ничего не нарушали. Мы просто верим в Бога. За это не наказывают.

Я снова открываю дневник. Беру запасной карандаш, на этот раз серый. Я хочу нарисовать наш дом, но моя рука выводит только острые, нервные углы. Крыша получается кривой, окна — похожими на пустые, слепые глазницы. Цветовая палитра моего мира стремительно остывает. Желтый и оранжевый цвета остались где-то в прошлой жизни, до того, как из радиоприемника прозвучало слово «секта».

Внезапно тишину подъезда разрывает грохот.

Это не стук в дверь. Это звук тяжелого, металлического удара, от которого содрогаются стены. Пол под моими ногами мелко вибрирует. Удар повторяется — еще громче, еще яростнее. Слышен треск ломающегося дерева и скрежет вырываемого с корнем замка.

Я замираю, перестав дышать. Медведь выпадает из моих ослабевших рук.

Из коридора доносится мамин крик — пронзительный, полный первобытного ужаса. Затем раздаются тяжелые, громыхающие шаги множества ног в массивных ботинках. Кто-то кричит грубым, сорванным басом:

— Лицом в пол! Руки за голову! Работает спецназ!

Я вскакиваю с кровати, не помня себя от страха. Мои босые ноги путаются в одеяле, я падаю на колени, больно ударяясь о край тумбочки, но тут же вскакиваю снова. Дверь моей комнаты распахивается с такой силой, что ручка пробивает дыру в гипсокартоне стены.

В дверном проеме появляется огромная черная фигура. Человек в тяжелом бронежилете, шлеме и черной маске, скрывающей лицо. В руках у него черное, матово поблескивающее оружие. На его плече горит яркий тактический фонарь, луч которого бьет мне прямо в глаза, ослепляя и дезориентируя.

— Здесь ребенок! — кричит человек в маске, не опуская оружия.

Я пячусь назад, пока моя спина не вжимается в холодное стекло окна. Я пытаюсь закричать, позвать маму, но из горла вырывается только хриплый, жалкий писк. Мой мозг отказывается воспринимать реальность. Эти люди в черном — они из фильмов про террористов, про опасных преступников. Что они делают в моей комнате, где на обоях нарисованы бабочки, а на столе лежат учебники по математике?

— Выходи в коридор! Быстро! — командует человек, делая шаг ко мне.

Я на негнущихся ногах иду к двери. Свет фонаря бьет в спину, подталкивая меня вперед.

То, что я вижу в коридоре и гостиной, навсегда выжигает в моей памяти прежний образ моего счастливого дома. Квартира заполнена вооруженными людьми. Их не меньше десяти. Они двигаются резко, агрессивно, переворачивая всё на своем пути.

Папа лежит на полу в кухне. Я вижу его через открытую арку. Дверь в квартиру была открыта, но силовикам этого показалось мало — они выбили окно на кухне, выходящее на пожарную лестницу. Весь пол усыпан мелкими, острыми осколками стекла. Папу повалили прямо на них. Двое оперативников в тяжелой экипировке прижимают его к полу коленями.

— Папа! — мой крик наконец прорывается наружу, звонкий и отчаянный.

Я вижу, как по папиным рукам, заломленным за спину, течет кровь. Осколки стекла впились в его кожу сквозь тонкую ткань домашней футболки. Металлические наручники с сухим щелчком защелкиваются на его запястьях, врезаясь в плоть.

— Я имею право на звонок! Вызовите моего адвоката! — хрипит папа, пытаясь приподнять голову от пола.

Один из оперативников, стоящий рядом, коротко, зло смеется.

— Адвоката ему. Ты кино пересмотрел, сектант? Лежи и не дергайся, пока зубы целы.

Мама прижата лицом к стене в коридоре. Её руки тоже скованы за спиной. Она плачет, её плечи судорожно трясутся. Рядом с ней стоит человек в штатском — следователь. В руках у него красная папка.

— Гражданка, прекратите истерику, — сухо, без единой эмоции в голосе произносит он. — Проводится обыск в рамках уголовного дела. Вы обвиняетесь в организации деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности.

Слова летели в меня, как грязные камни. «Экстремисты». «Террористы». От этих слов мне хотелось исчезнуть. Я сразу вспомнила радио у нас на кухне и ту газетную вырезку, которую приклеила в дневник. Я не знала всех этих взрослых людей, которые писали статьи и страшные бумаги. Никогда их не видела. Они не приходили к нам домой. Не знали моего папу и маму. Но почему-то именно из-за их слов другие люди начали нас бояться и ненавидеть. А потом в наш дом пришли люди в форме. Очень громкие и страшные. Хотя мой папа просто инженер, а мама учит детей музыке. Они не были преступниками. Но взрослые бумаги почему-то сделали вид, будто это не так. И от этого у меня внутри всё перевернулось.

Я бросаюсь к маме, но чья-то жесткая рука в кевларовой перчатке перехватывает меня за плечо и отшвыривает в сторону. Я падаю на пол, больно ударяясь локтем о паркет.

— Не трогайте ребенка! — не своим, сорванным голосом кричит мама, пытаясь вырваться из рук держащего её силовика. — Аин, девочка моя, закрой глаза! Не смотри!

Но я не могу зажмуриться. Я всё вижу. И от этого мне ужасно страшно. Наш дом будто ломают прямо у меня на глазах. Люди в форме всё переворачивают. Книги падают с полок. Вещи летят на пол. Мамины нотки, папины чертежи, мои фотографии, где я маленькая на море, — всё валяется и пачкается под их огромными ботинками. Они всё ищут и ищут. Какие-то «доказательства». Но я не понимаю, что они хотят найти. Потому что у нас дома нет ничего плохого. Совсем ничего.

В этот момент один из силовиков, проходя мимо телевизора в гостиной, случайно задевает пульт, лежащий на тумбочке. Экран вспыхивает ярким светом, и тишину, прерываемую только звуками погрома и маминым плачем, разрезает бодрый голос ведущего утренних новостей.

«...в стране продолжается системная работа по противодействию деятельности радикальных и экстремистских объединений, — ровным голосом сообщает ведущий вечернего выпуска новостей, пока на экране идут кадры оперативной съёмки: люди в форме, мигалки, вскрытая дверь. — Правоохранительные органы подчёркивают: в условиях роста угроз меры реагирования становятся более решительными. Одной из самых обсуждаемых стала операция, проведённая осенью 2021 года в доме семьи Калиных. По данным родственников, сотрудники силовых структур проникли в жилище ранним утром через кухонное окно, несмотря на то что входная дверь не была заперта. Во время задержания 52-летний Ярослав Калин получил порезы от разбитого стекла. Его родственники утверждают, что мужчине не позволили одеться и отказали в вызове адвоката. Позже дочь задержанного, Светлана, заявила журналистам, что обращения и жалобы семьи в Следственный комитет и полицию остались без удовлетворения. Официальные ведомства ситуацию подробно не комментируют...»

Я смотрю на телевизор, а потом на кухню. И у меня внутри всё холодеет. Там тоже стекло на полу. И у папы тоже кровь на руках. Прямо как показывали по телевизору. От этого мне становится страшно-страшно. Я раньше думала, что новости просто рассказывают, что случилось. Но теперь мне кажется, будто телевизор учит людей, кого

надо бояться и кого можно обижать. Сначала это показывают на экране. А потом такое же приходит в настоящий дом. И то, что случилось с тем мужчиной из новостей, теперь происходит у нас. Почти одинаково. Будто кто-то специально всё повторяет по одной страшной схеме. И от этой мысли мне хочется спрятаться под стол и закрыть уши руками.

Следователь раздраженно тянется к телевизору и выдергивает шнур из розетки. Экран гаснет.

— Понятые, зафиксируйте изъятие электронных носителей, — бросает он двум испуганным соседям, которых привели с лестничной клетки. Я узнаю в одном из них дядю Борю. Он стоит, вжав голову в плечи, и отводит взгляд, когда я смотрю на него. Он боится. Страх парализовал всех.

Из коридора доносится звук открывающейся двери. В квартиру входит женщина. На ней строгое серое пальто, в руках — пухлая кожаная папка. У неё холодное, непроницаемое лицо человека, привыкшего иметь дело с чужим горем как с бумажной рутиной.

Она подходит к следователю и коротко кивает.

— Органы опеки и попечительства, — представляется она. — Где несовершеннолетняя?

Следователь кивает в мою сторону. Я сижу на полу, прижавшись спиной к стене, и дрожу так сильно, что мои зубы выбивают мелкую дробь.

Женщина в сером пальто подходит ко мне. В её глазах нет ни капли сочувствия. Для неё я не ребенок, потерявший дом. Для неё я — «ребенок сектантов», биологический материал, который нужно изъять из «опасной среды».

— Вставай, девочка. Ты поедешь со мной, — говорит она ровным, металлическим голосом.

— Нет! — кричит мама, срывая голос. Она бьется в руках оперативника, как птица в силках. — Вы не имеете права! Мы её родители! Оставьте мою дочь!

— Гражданка, вы задержаны по тяжкой статье, — холодно отвечает женщина из опеки. — Ребенок подлежит изъятию и помещению в государственное учреждение. Это стандартная процедура.

Я не знаю всяких умных слов, которые пишут взрослые в толстых книжках. Но мне кажется, что когда у ребёнка хотят забрать маму и папу, мир просто ломается. Страшно так, будто случилось что-то ужасное и непоправимое. У меня внутри вдруг будто что-то треснуло. Прямо хрустнуло. Воздух стал тяжёлый-тяжёлый, как вода. Я пыталась дышать, но не получалось. Мне стало так страшно, что я вскочила и побежала к маме. Схватилась за её кофту изо всех сил. Так сильно, что пальцы даже побелели. Будто если отпущу — её заберут навсегда.

— Мамочка! Мама, не отдавай меня! Пожалуйста! — я кричу так громко, что у меня закладывает уши. Слезы текут по моему лицу, смешиваясь с пылью, поднятой сапогами спецназа.

Мама пытается обнять меня скованными за спиной руками, она прижимается лицом к моей макушке. Её слезы капают мне на волосы.

— Аин… Аиночка, слушай меня, — шепчет она быстро-быстро, задыхаясь. — Мы ни в чем не виноваты. Запомни это. Никогда не верь им. Мы любим тебя больше жизни. Бабушка приедет за тобой. Обязательно приедет.

Женщина в сером пальто хватает меня за плечи и с силой отрывает от мамы. Её пальцы больно впиваются в мою кожу. Я брыкаюсь, кусаю воздух, пытаюсь вырваться, но она держит крепко.

— Прекрати истерику, — шипит она мне на ухо. — Твои родители — преступники. Государство тебя спасает.

Спасает. Это слово звучит как издевательство. Меня спасают от маминых объятий, от запаха ванили на кухне, от папиных сказок на ночь. Меня спасают, уничтожая мою жизнь.

Оперативники поднимают папу с пола. Он с трудом стоит на ногах. Кровь с его рук капает на светлый паркет, оставляя яркие, страшные пятна. Его лицо бледно, на скуле наливается огромный синяк, но глаза ясные. Он смотрит прямо на меня, игнорируя тычки конвоиров.

— Мы тебя очень любим, Аиночка, — его голос звучит твердо, несмотря на разбитую губу. — Стань сильной. Слышишь? Будь сильной.

— Пошли, пошли! — рявкает следователь.

Маму и папу грубо толкают к выходу. Я вижу их спины, скованные руки, опущенные головы. Дверь захлопывается за ними с тяжелым, глухим стуком. Этот звук отрезает меня от моего прошлого навсегда.

В квартире остаются только женщина из опеки, следователь, который дописывает протокол, и двое оперативников, лениво перебирающих оставшиеся вещи.

Я стою посреди разгромленной гостиной. Мои руки безвольно опущены. Я больше не плачу. Слезы закончились, оставив после себя сухую, выжженную пустоту. Я смотрю на капли папиной крови на полу. Они яркие, почти неестественные на фоне серой пыли.

Входная дверь снова открывается. На пороге появляется моя бабушка. Она живет в трех кварталах от нас, и, видимо, кто-то из соседей успел ей позвонить. Её седые волосы растрепаны, пальто накинуто поверх ночной рубашки.

Она видит разгромленную квартиру, видит меня, стоящую в оцепенении, и медленно оседает на пуфик в прихожей. Она закрывает лицо руками и начинает выть — страшно, протяжно, без слов.

Женщина из опеки подходит к следователю.

— Родственница прибыла, — говорит она, кивая на бабушку. — Оформляем временную опеку до выяснения обстоятельств. Но в перспективе — детский дом. Вы же знаете статистику.

Она открывает свою кожаную папку, чтобы достать бланк, и один из листов выпадает, плавно планируя на пол прямо к моим ногам. Женщина не замечает этого, отвлекшись на разговор со следователем.

Я медленно опускаю глаза. Это не просто бланк. Это копия какого-то ведомственного отчета, напечатанного мелким шрифтом. Мой взгляд цепляется за выделенные жирным абзацы. Я умею хорошо читать, папа научил меня рано.

«...в соответствии с постановлением Верховного суда от 2017 года, признавшим деятельность ряда организаций экстремистской... активизирована работа по защите несовершеннолетних... Дети подлежат немедленному изъятию и передаче в государственные учреждения для прохождения психологической реабилитации...»

У многих детей тоже забирали мам и пап. Прямо сейчас кто-то где-то плачет так же, как плакала я. От этой мысли мне стало холодно внутри. Очень холодно. Я раньше думала, что с нами случилась какая-то ужасная ошибка. Но теперь мне уже так не кажется. Будто это происходит снова и снова с разными семьями. И взрослые всё называют красивыми словами — «защита», «безопасность». Но детям от этих слов совсем не легче. Мне кажется, есть какая-то огромная страшная машина, которая ломает чужие жизни. А люди просто делают то, что им сказали. И от этого ещё страшнее.

Следователь и оперативники наконец уходят, забрав коробки с нашими компьютерами и книгами. Женщина из опеки, сунув бабушке на подпись какие-то бумаги, тоже покидает квартиру, бросив на прощание, что вернется через несколько дней для «оценки жилищных условий».

Мы остаемся вдвоем. Бабушка сидит в прихожей, раскачиваясь из стороны в сторону.

Я медленно иду в свою комнату. Дверь выломана. На полу валяются разбросанные вещи. Мой плюшевый медведь лежит в углу, придавленный тяжелым томом энциклопедии. Я поднимаю его, отряхиваю от пыли.

Под перевернутым стулом я нахожу свой дневник. Он чудом уцелел, только обложка помялась от чьего-то сапога.

Я сажусь на пол прямо среди обломков своей прежней жизни. Достаю из рассыпанного пенала серый и темно-синий карандаши.

Я открываю дневник на чистой странице. Мои пальцы больше не дрожат. Они холодные и твердые.

Я рисую дом. Тот самый дом, который еще вчера был желтым и оранжевым. Теперь он серый. Я рисую его обветшалым, с покосившимися стенами. Я беру синий карандаш и с силой, прорывая бумагу, рисую огромную, зияющую дыру в крыше. Это символ утраты. Символ того, что небо над моей головой больше не защищает меня. Оно обрушилось внутрь, раздавив всё, что я любила.

Я смотрю на свой рисунок. Цвета холодные, мертвые.

Затем я беру ручку. Я не пишу о том, как мне страшно. Страх остался там, в моменте, когда маму уводили за дверь. Сейчас во мне только звенящая, пустая ясность.

Я макаю палец в каплю папиной крови, которая осталась на обложке упавшей книги, и оставляю красный, рваный отпечаток прямо поверх нарисованного дома.

«В новостях говорят, что они спасают общество», — пишу я под рисунком ровными, печатными буквами. «Женщина в сером пальто сказала, что спасает меня. Но если это спасение, почему мой папа истекал кровью на полу? Почему моя мама кричала так, словно её убивают? Я слышала папины слова. Он просил меня стать сильной. Я не знаю, как быть сильной, когда твой мир растоптали грязными ботинками. Но я знаю одно: те, кто забрал моих родителей, не спасатели. Они — монстры, которым дали право носить форму защитников».

Я закрываю дневник. В квартире тихо. Только ветер завывает в разбитом кухонном окне, гоняя по полу осколки стекла, на которых навсегда осталась кровь моего отца. Я прижимаю к себе одноухого медведя и смотрю в пустоту коридора, понимая, что мое детство закончилось сегодня, в шесть часов утра.

Глава 6. Без родителей

Запах старого корвалола, пыльных ковров и остывшего чая пропитал каждый сантиметр этой тесной квартиры. Я лежу на узком диване в гостиной моей бабушки, укрытая тяжелым шерстяным пледом, который колется даже через одежду. На стене мерно, с безжалостной точностью тикают старые часы с маятником. Тик-так. Тик-так. Каждый удар отмеряет время, в котором моих родителей больше нет рядом.

Я будто упала в очень глубокий и холодный колодец. Всё вокруг стало странным. Люди что-то говорят, но их голоса как будто под водой. Цвета стали тусклые, некрасивые. А руки и ноги тяжёлые, как из камня. Раньше мир был обычный и понятный. Дома пахло едой, мама смеялась, папа что-то рисовал за столом. А теперь мне кажется, будто мир стал злым и страшным. Как будто везде может случиться что-то плохое. Я не знаю всяких умных слов про это. Но внутри у меня всё сломалось. Будто стрелочка в компасе закрутилась и больше не показывает дорогу. И даже пол под ногами уже не кажется крепким.

Бабушка сидит на кухне. Я слышу, как она тихо плачет, стараясь не издавать ни звука, чтобы не разбудить меня. Периодически звякает чайная ложечка о край фарфоровой чашки. Вчера, когда мы только приехали сюда после того страшного утра, она пыталась меня утешить. Она гладила меня по голове дрожащими руками и повторяла срывающимся голосом: «Это ошибка, Аиночка. Они разберутся. Папа с мамой скоро вернутся, вот увидишь. Это просто чудовищная ошибка».

Но я смотрела в её покрасневшие, опухшие от слез глаза и видела там абсолютную, беспросветную пустоту. Она сама не верила ни единому своему слову. Взрослые часто думают, что ложь во спасение помогает детям пережить трагедию. Они не понимают, что фальшивая надежда ранит гораздо сильнее, чем горькая правда. Когда тебе лгут самые близкие люди, ты остаешься со своим горем один на один.

Я откидываю колючий плед и спускаю босые ноги на прохладный линолеум. Мой плюшевый медведь с криво пришитым ухом лежит на краю дивана. Я беру его за лапу и бесшумно иду по коридору. Мне не хочется идти на кухню, не хочется видеть бабушкины слезы и снова слушать пустые обещания.

В углу гостиной, на тумбочке, накрытой кружевной салфеткой, работает старый телевизор. Бабушка включила его еще утром, бормоча, что ей нужен «хоть какой-то фон», чтобы не сойти с ума от тишины. Звук убавлен почти до минимума.

Я подхожу ближе и сажусь на пол перед экраном, обхватив колени руками. На экране мелькают яркие, динамичные кадры. Идет дневной выпуск новостей.

Диктор — молодой мужчина в безупречно скроенном синем костюме — смотрит прямо в камеру. Его лицо выражает профессиональную озабоченность, смешанную с плохо скрываемым торжеством. Я тянусь к пульту, лежащему на краю тумбочки, и нажимаю кнопку увеличения громкости.

«…успешное пресечение деятельности запрещённой организации в нашем регионе, — чеканит диктор, и каждое его слово падает в комнату, как тяжелая свинцовая капля. — Сегодня ночью правоохранительные органы провели масштабную операцию по пресечению деятельности группы, которую следствие связывает с экстремистским объединением. Задержаны предполагаемые организаторы и активные участники запрещённой структуры, которая, по версии силовиков, продолжала действовать под видом мирного религиозного объединения».

Картинка на экране меняется. Я перестаю дышать.

По телевизору показывают наш двор. Настоящий. Я сразу узнала нашу дверь с облупленной краской и куст сирени, который папа подстригал весной. У меня даже сердце застучало быстрее. Камера всё тряслась, будто в боевике. Люди в чёрной форме бежали по лестнице, а оператор бежал за ними. Но телевизор показывал всё как какое-то крутое кино. Будто они герои. А про другое никто не говорил. Не показывали, как дети плачут от страха. Не показывали кровь и разбросанные вещи. Не показывали, как мамы кричат. Мне тогда стало очень обидно. Потому что наш настоящий ужас будто спрятали за красивой страшной картинкой для телевизора.

На экране показывают нашу гостиную. Ту самую, где еще вчера пахло маминой выпечкой. Теперь там хаос. Камера крупным планом выхватывает разбросанные по полу книги, перевернутые стулья. Голос за кадром продолжает нагнетать атмосферу:

«В ходе обысков изъята литература, которую следствие считает запрещённой, электронные носители и документы, которые, по версии правоохранителей, могут подтверждать незаконную деятельность. Соседи задержанных пребывают в шоке, узнав, кто жил с ними на одной лестничной клетке».

В кадре появляется лицо тети Вали, старшей по нашему дому. Она стоит на фоне своего подъезда, кутаясь в пуховый платок. Её глаза бегают, она выглядит испуганной, но говорит быстро, словно заученный текст:

«Мы и подумать не могли… Они такие тихие были, вежливые. А оказывается, вон оно что. Страшно жить, когда такие люди рядом. Хорошо, что органы вовремя вмешались, спасли нас от этой заразы».

Я смотрю на её шевелящиеся губы и чувствую, как внутри меня поднимается темная, горячая волна. Это не просто обида. Это чистый, концентрированный гнев. Гнев на эту женщину, которой мой папа бесплатно чинил сантехнику. Гнев на диктора в синем костюме, который называет разрушение моей жизни «успешным пресечением». Гнев на весь этот мир, который с таким упоением пожирает мою семью, прикрываясь словами о безопасности.

Они используют нашу трагедию как шоу. Они продают страх, чтобы люди прилипали к экранам. Никто из них не задается вопросом, что происходит с детьми тех, кого они так легко назвали «экстремистами». Для них мы — просто сопутствующий ущерб.

Репортаж сменяется студийной съемкой. В кресле напротив ведущего сидит тучный мужчина с окладистой бородой. Внизу экрана появляется титр: «Эксперт по деструктивным культам».

«Понимаете, — говорит эксперт, вальяжно откинувшись в кресле, — общество должно осознать масштаб угрозы. Эти люди не просто верят во что-то свое. Они разрушают социальные связи, они зомбируют адептов. И самое страшное — они втягивают в это своих детей. Изоляция таких элементов от общества — это вопрос национальной безопасности. Мы не можем проявлять к ним ложную толерантность».

Я слушаю его ровный, уверенный голос, и в моей памяти внезапно всплывает обрывок разговора родителей. Это было несколько месяцев назад, поздним вечером. Я должна была спать, но вышла на кухню попить воды и остановилась в коридоре. Папа сидел за столом, перед ним лежал открытый ноутбук. Он читал маме какую-то статью, и его голос дрожал от негодования.

«Они расчеловечивают нас до такой степени, что оправдывают любое насилие, — говорил тогда папа, глядя в экран. — Это началось не сегодня. Эта риторика формировалась десятилетиями. Представляешь, Аня, в тысяча девятьсот девяносто третьем году репортер американского канала ABC заявила в прямом эфире, что “двухлетний член секты был застрелен в перестрелке”. Ты только вдумайся в эти слова. Двухлетний член секты! Для них ребенок — это не человек, не жертва. Это просто “член

секты", которого не жалко убить. И сейчас эти же самые лекала применяют к нам. Они готовят общество к тому, что с нами можно делать всё что угодно».

Тогда я не поняла смысла этих слов. Но сейчас, сидя на холодном полу перед телевизором, я осознаю их с пугающей ясностью. Двухлетний член секты.

Для этого эксперта в студии, для диктора, для людей в черных масках — я не Аин. Я не девочка, которая любит рисовать и собирать наклейки с динозаврами. Я — «маленькая сектантка». Биологический материал, изначально испорченный своими родителями. Они не видят во мне ребенка, нуждающегося в защите. Они видят во мне продолжение того врага, которого они сами же и выдумали.

Я нажимаю красную кнопку на пульте. Экран гаснет, обрывая речь эксперта на полуслове. В комнате снова повисает тяжелая тишина, нарушаемая только тиканьем часов.

Чувство отверженности накрывает меня с головой. Меня вышвырнули из нормальной жизни, как сломанную игрушку. Государство, которое должно защищать детей, растоптало мой дом, а общество, глядя на это по телевизору, радостно аплодирует.

Я встаю с пола. Мои движения становятся резкими, порывистыми. Я иду к своему рюкзаку, который сиротливо стоит в углу прихожей. Расстегиваю молнию и достаю свой дневник.

Обложка слегка помята — след от тяжелого ботинка оперативника. Я возвращаюсь в гостиную, сажусь за старый письменный стол у окна и открываю тетрадь.

Желтый и оранжевый карандаши давно лежат на самом дне пенала. Я даже не смотрю в их сторону. Моя рука безошибочно находит темно-синюю ручку.

Я не хочу рисовать. Рисунки — это для детей. А я больше не ребенок. Детство закончилось в тот момент, когда я увидела кровь на руках моего отца.

Я переворачиваю страницу, где нарисован серый дом с пробитой крышей и красным отпечатком, и начинаю писать. Я давлю на ручку с такой силой, что шарик прорывает верхний слой бумаги, оставляя на обратной стороне глубокие, царапающие борозды.

«Мама. Папа. Я знаю, что вы это не прочитаете. Бабушка говорит, что вы скоро вернетесь, но она врет. Она всё время плачет на кухне. Я только что видела наш дом по телевизору. Дядя в костюме сказал, что они победили зло. Они показывали наши разбросанные вещи и говорили, что спасли людей. Тетя Валя сказала, что мы зараза. Я не понимаю, как они могут так врать и не краснеть. Почему никто не показал, как вы плакали? Почему никто не показал, как мне было страшно? Они думают, что я ничего не понимаю. Они думают, что я маленькая и глупая. Но я всё понимаю. Я понимаю, что они злые. Они придумывают страшные слова, чтобы другие люди нас ненавидели. Я не хочу быть сильной, как ты просил, папа. Я хочу, чтобы вы были рядом. Мне холодно в этой квартире. Здесь пахнет старыми лекарствами, а я хочу, чтобы пахло твоим кофе и маминым блинчиками. Я ненавижу этот телевизор. Я ненавижу этих людей, которые радуются, что нас забрали. Если мы плохие, то почему мы никогда никого не обижали? А они хорошие, но они сломали нашу дверь и сделали вам больно. Я обещаю вам, что я никогда им не поверю. Что бы они ни говорили. Я сохраню правду здесь, в этой тетради. Я очень вас люблю. Пожалуйста, не умирайте там».

Я ставлю последнюю точку. Рука дрожит от напряжения. На бумаге остаются смазанные следы от чернил — я случайно задела их ребром ладони.

Это мое первое письмо в никуда. Письмо без адресата, без почтового индекса, без надежды на ответ. Оно останется запертым между страницами дневника, как крик, застрявший в горле.

Я смотрю на написанные строчки. В них нет детской наивности. В них звучит голос человека, которого насильно вырвали из иллюзии справедливого мира. Гнев, пульсирующий в этих словах, становится моей единственной опорой. Если я перестану злиться, если я позволю себе просто плакать — я сломаюсь окончательно. Гнев — это мой щит против их лжи.

Я аккуратно вырываю лист из тетради. Складываю его пополам, потом еще раз. Получается маленький, плотный бумажный квадрат.

В комнату тихо входит бабушка. В руках она держит стакан с теплым молоком. Её глаза всё еще красные, а плечи сгорблены под тяжестью невыносимого горя.

— Аиночка, выпей молока, — говорит она надломленным голосом. — Тебе нужно поесть. Ты со вчерашнего дня крошки во рту не держала.

Я быстро прячу сложенное письмо под плюшевого медведя.

— Я не хочу, бабушка, — отвечаю я ровно, глядя ей прямо в глаза. — Я не голодна.

Она ставит стакан на стол. Молоко слегка колыхается, оставляя на стекле белые разводы. От него исходит слабый пар, но он не приносит тепла.

— Пожалуйста, милая. Ради меня, — умоляет она, касаясь моего плеча.

Я молча беру стакан и делаю один глоток. Молоко кажется безвкусным, как вода. Бабушка с облегчением вздыхает и медленно выходит из комнаты, шаркая тапочками по паркету.

Я остаюсь одна. За окном сгущаются сумерки, окрашивая небо над городом в грязно-серые тона. В отражении оконного стекла я вижу себя — маленькую, худую девочку с темными кругами под глазами. Рядом со мной сидит искалеченный медведь, под лапой которого спрятано письмо к родителям, объявленным врагами государства.

В соседней комнате снова начинает бормотать телевизор — бабушка прибавила звук. Очередной выпуск новостей, очередная порция лжи, льющаяся в уши миллионов людей, которые завтра пойдут на работу, уверенные в том, что мир стал чуточку безопаснее.

Я прижимаю ладонь к холодному стеклу окна. Город внизу зажигает огни. Где-то там, за этими бетонными коробками и светящимися витринами, в холодных камерах сидят мои родители. А я сижу здесь, запертая в чужой квартире, сжимая в руке кусок бумаги, который никто никогда не прочитает. И в этот момент я понимаю самую страшную вещь: телевизор может выключиться, новости могут закончиться, но этот холод, поселившийся внутри меня, теперь останется со мной навсегда.

Глава 7. Новая обстановка

Печать с глухим, влажным стуком опускается на бумагу. Этот звук ставит точку. Он отсекает мою прошлую жизнь, где пахло ванильными блинчиками и свежими опилками из папиной мастерской, от того, что начинается сейчас.

Я сижу на жестком дерматиновом стуле в кабинете директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Так это место называется

официально. В народе его называют просто — приют. Мои ноги в колготках не достают до пола, и я слегка покачиваю ими, глядя на потертый линолеум.

Женщина в строгом сером пальто — та самая, из органов опеки, которая забрала меня из разгромленной квартиры, — стоит у стола и методично перекладывает документы. Бабушке не разрешили оставить меня у себя. Бюрократическая машина сработала безупречно: в постановлении было сухо указано, что «близкие родственники могут оказывать негативное идеологическое влияние на несовершеннолетнюю, препятствуя её психологической реабилитации после пребывания в деструктивной среде». Мою бабушку, которая пекла мне пирожки с яблоками и вязала носки, система одним росчерком пера превратила в угрозу.

Директор центра, грузная женщина с высокой прической, зафиксированной лаком, берет мою папку. На картонной обложке крупными буквами выведена моя фамилия.

— Значит, из этих… — директор неопределенно машет рукой в воздухе, не произнося слово вслух, но оно повисает в кабинете тяжелым, липким облаком. — Понятно. Стандартная процедура. Карантин, потом в общую группу.

Пока взрослые обмениваются дежурными фразами, мой взгляд падает на край стола директора. Там лежит открытая папка с входящей корреспонденцией. Я умею читать быстро и цепко — папа всегда хвалил меня за это. Верхний лист представляет собой ведомственную справку-меморандум, напечатанную мелким шрифтом. В шапке документа стоит дата: 12 сентября 2023 года. Гриф: «Для служебного пользования».

Мои глаза выхватывают отдельные абзацы. Текст написан сухим, канцелярским языком, но за этими ровными строчками скрывается ледяная жестокость.

«...Анализ практики временного помещения несовершеннолетних в учреждения социальной реабилитации показывает, что сведения о местонахождении ребёнка нередко становятся существенным фактором при выборе родителями линии поведения на следствии. В качестве примера одно из дел в Ростовской области: после временного помещения восьмилетней девочки в СРЦН и ограничения контактов до завершения первичной проверки мать ребёнка изменила позицию на допросах и согласилась взаимодействовать со следствием. Рекомендуется шире применять практику временного помещения детей в учреждения социальной реабилитации и обращения в суд с вопросом об ограничении родительских прав при наличии законных оснований по делам о деструктивных религиозных объединениях...»

Я перестаю дышать. Буквы на белом листе сливаются в одну черную линию.

Они не спасают детей. Они используют нас.

Институционализация — помещение ребенка в казенное учреждение — это не акт заботы государства. Это тщательно продуманный, хладнокровный инструмент шантажа. Моя мама сейчас сидит в холодной камере, и следователь, наверное, говорит ей: «Твоя дочь в приюте. Подпиши бумаги, признай себя виновной в экстремизме, и, может быть, мы разрешим бабушке её забрать. Не подпишешь — девочка отправится в детский дом до совершеннолетия». Я — заложница. Маленькая, бесправная гиря, которую антикультовая система бросила на чашу весов, чтобы сломать моих родителей.

— Вставай, Аин, — голос директора вырывает меня из оцепенения. — Пойдешь с Ниной Васильевной. Она выдаст тебе вещи и покажет твою кровать.

Женщина в сером пальто даже не смотрит на меня на прощание. Она застегивает свою кожаную папку, в которой теперь лежит моя свобода, и выходит из кабинета. Её работа выполнена. Биологический материал доставлен на склад.

Нина Васильевна, пожилая женщина в выцветшем синем халате, берет меня за руку. Её ладонь шершавая и холодная. Мы выходим в длинный, тускло освещенный коридор. Здесь пахнет хлоркой, переваренной капустой и старым, застоявшимся страхом. Этот запах въедается в волосы, в одежду, в саму кожу.

Мы спускаемся на первый этаж, в помещение, на двери которого висит табличка «Кастелянская». Это комната без окон, уставленная стеллажами с одинаковыми стопками белья.

— Раздевайся, — буднично командует Нина Васильевна, указывая на деревянную скамейку. — Свою одежду сложи в пакет. До выписки она тебе не понадобится.

Я стою неподвижно, прижимая к груди свой рюкзак. На мне надет мой любимый желтый свитер с вышитой ромашкой — подарок мамы на прошлый день рождения. Он всё еще хранит едва уловимый запах нашего дома.

— Я не хочу снимать свитер, — мой голос звучит тихо, но твердо. — Мне в нем тепло.

— Здесь не санаторий, девочка, — Нина Васильевна тяжело вздыхает, подходя ближе. В её голосе нет злобы, только бесконечная, профессиональная усталость

человека, который каждый день ломает чужие границы. — Положено ходить в казенном. Твои вещи должны пройти санитарную обработку. Давай, не задерживай меня. У меня еще инвентаризация.

Сначала у тебя будто забирают всё твоё. Твои любимые вещи. Твой запах дома. Твою пижаму, в которой ты спал. Даже привычки. А потом дают одинаковую одежду, как у всех. И ты больше не чувствуешь себя собой. Будто ты уже не девочка Аин, которая любит клубничное варенье и рисовать в тетрадке. А просто какой-то номер в списке. И от этого внутри становится пусто и очень одиноко.

Я медленно стягиваю через голову желтый свитер. Воздух в кастелянской прохладный, и по моим рукам бегут мурашки. Я аккуратно складываю свитер, джинсы и свои домашние носки в прозрачный пластиковый пакет. Нина Васильевна завязывает его узлом и бросает на верхнюю полку стеллажа. Мой дом остается лежать там, в скомканном куске пластика.

Взамен мне выдают серую водолазку, которая колется на сгибах, темно-синие спортивные штаны с вытянутыми коленями и пару резиновых тапочек. Одежда пахнет хозяйственным мылом и чужим потом, который не смогла вывести даже промышленная стиральная машина. Я надеваю эти вещи, и мне кажется, что я надеваю на себя чужую, тяжелую кожу.

Нина Васильевна тянется к моему рюкзаку.

— А это что? Игрушки не положено. Только в игровой комнате.

Она достает моего плюшевого медведя. Того самого, с криво пришитым правым ухом.

— Нет! — я вцепляюсь в медведя обеими руками. Паника, которую я так старательно давила в себе всё это время, внезапно прорывается наружу. — Пожалуйста! Это мой друг. Мне без него нельзя.

Нина Васильевна останавливается. Она смотрит на мое побелевшее лицо, на мои дрожащие губы. В системе, где всё подчинено строгим правилам, иногда случаются крошечные сбои из-за остатков человечности.

— Ладно, — бормочет она, отпуская игрушку. — Оставь. Но если воспитательница увидит на кровати днем — отберет. Прячь в тумбочку.

Она берет пульверизатор с какой-то резко пахнущей жидкостью и дважды брызгает на медведя.

— Санобработка, — поясняет она.

Медведь теперь пахнет больницей. Я прижимаю его к груди, чувствуя, как влажная шерстка холодит подбородок.

Меня ведут на второй этаж. Длинный коридор выкрашен масляной краской: снизу до половины стены — грязно-зеленой, сверху — белой. Двери в спальни одинаковые, без замков. Личное пространство здесь отменено как понятие.

Моя комната — номер четырнадцать. Внутри стоят четыре железные кровати, застеленные серыми байковыми одеялами. Между ними — две обшарпанные тумбочки.

Окно большое, но за ним виднеется только глухая бетонная стена соседнего корпуса и голые ветки старого тополя.

В комнате никого нет — остальные дети сейчас на занятиях. Я подхожу к свободной кровати у окна. Матрас тонкий, сквозь него чувствуются жесткие металлические пружины панцирной сетки. Я сажусь на край, кладу рюкзак на колени и достаю свой дневник.

Обложка тетради кажется мне единственным островком безопасности в этом огромном, чужом здании. Я открываю её на чистой странице. Достаю пенал.

Мои пальцы перебирают карандаши. Я смотрю на желтый, красный, зеленый. Они кажутся мне фальшивыми. Эти цвета лгут. В мире, где детей используют как инструмент пыток для их родителей, не бывает желтого солнца.

Я беру простой графитовый карандаш.

Я начинаю рисовать. Я не рисую наш уютный дом с оранжевой крышей. Я рисую то, что вижу за окном. Серую бетонную коробку. Я прорисовываю каждый блок, каждый стык между плитами. Линии получаются жесткими, прямыми, безжалостными. Я заштриховываю фасад густым серым цветом, нажимая на грифель так, что он оставляет на бумаге блестящий, металлический след.

Рядом с бетонной коробкой я рисую дерево. У него нет листьев. Только кривые, изломанные ветви, тянущиеся к пустому небу, как руки, просящие о помощи.

«Я в приюте», — пишу я под рисунком. Буквы мелкие, жмущиеся друг к другу, словно им тоже холодно. «Здесь всё серое. Моя одежда серая. Стены серые. Женщина в кабинете смотрела на меня так, будто я вещь, которую нужно положить на полку. Я видела бумагу на её столе. Они забрали меня специально, чтобы маме было больно. Они хотят, чтобы мама сдалась. Я не знала, что взрослые могут быть такими жестокими. Они называют нас сектой, чтобы никто не ругал их за то, что они делают с детьми».

Я откладываю ручку и смотрю на своего медведя. Он сидит на сером одеяле. Я беру его в руки и внимательно вглядываюсь в его мордочку.

Когда Денис в школе оторвал ему ухо, я пришила его сама. Черная нитка, которой я стянула края ткани, натянулась слишком сильно. Она потянула за собой плюш на щеке медведя. Его вышитая красными нитками улыбка, которая раньше была круглой и веселой, теперь исказилась. Уголок рта пополз вниз, превратив улыбку в кривую, болезненную гримасу.

Медвежонок окончательно перестал улыбаться. Он выглядит уставшим и сломанным. Как и я.

Я беру старую пластиковую расческу из рюкзака и начинаю причесывать его шерстку. Я зачесываю ворс на его макушке на одну сторону, перекидывая импровизированную челку через правое плечо, закрывая шрам от оторванного уха. Это мой тайный ритуал. Символ того, что мы изменились. Мы больше не наивные игрушки. Мы — выжившие.

Вечером, когда в комнату возвращаются другие девочки, я почти не разговариваю с ними. Они смотрят на меня с настороженным любопытством, шепчутся по углам. Новости распространяются быстро даже за закрытыми дверями. Они уже знают, почему я здесь. Знают, что мои родители арестованы по «страшной» статье.

В десять часов вечера в коридоре щелкает рубильник, и верхний свет гаснет. Остается только тусклая дежурная лампа над дверью.

Я лежу под колючим байковым одеялом, свернувшись в клубок. В комнате холодно. Сквозит из щелей в старой оконной раме. Я слышу, как на соседней кровати тихо, в подушку, всхлипывает младшая девочка. Слышу мерные шаги ночной няни в коридоре.

Психологическое состояние ребенка в казенном учреждении — это медленное погружение в немоту. Ты перестаешь плакать вслух, потому что знаешь: никто не придет утешить. Твоя боль здесь никого не интересует. Она — лишь часть протокола. Система

переваривает твою идентичность, растворяя твои воспоминания в строгом расписании: подъем, завтрак, занятия, отбой.

Я закрываю глаза и представляю себе маму. Я пытаюсь вспомнить её лицо, но вместо этого вижу только серую стену кабинета следователя. Я представляю, как она сидит там, уставшая, напуганная, и ей говорят, что я в приюте.

Я крепче прижимаю к себе медведя. Его искусственный мех пахнет дезинфектором, но под этим запахом я всё еще пытаюсь уловить аромат нашего дома.

Я не могу позволить им победить. Если я забуду, кто я такая, если я превращусь в послушный номер в их серых списках — значит, они сломают не только меня. Они сломают моих родителей.

Я открываю глаза и смотрю в темноту. За окном, сквозь голые ветви тополя, пробивается тусклый свет уличного фонаря. Он падает на подоконник, освещая край моего дневника, который я спрятала под подушку.

Я осторожно достаю тетрадь, нащупываю в темноте ручку. Откинув край одеяла, чтобы свет от фонаря падал на страницы, я нахожу свой сегодняшний рисунок с бетонной коробкой.

В самом низу страницы, под текстом о жестокости взрослых, я вывожу одну короткую строчку. Я пишу её вслепую, почти не видя букв, но каждая из них врезается в бумагу, как клятва.

«Я обязательно вернусь домой».

Я прячу дневник обратно. В коридоре снова раздаются тяжелые шаги. Кто-то останавливается у нашей двери, проверяя, все ли спят. Я замираю, выравнивая дыхание, сливаясь с темнотой этой бетонной коробки, но внутри меня, под серой казенной водолазкой, бьется сердце девочки, которая только что объявила системе свою собственную, тихую войну.

Глава 8. Поиски смысла

Холодный линолеум обжигает босые ступни. Я ступаю совершенно бесшумно, перенося вес с пятки на носок, как учил папа, когда мы играли в прятки. Сейчас тихий час. Все дети в моей группе спят или делают вид, что спят, укрывшись колючими серыми одеялами. Но мне не до сна. Внутри меня пульсирует острая, болезненная потребность понять.

Я проскальзываю мимо приоткрытой двери дежурной медсестры — оттуда доносится ровное гудение старого холодильника — и направляюсь к кабинету воспитателей. Дверь туда обычно заперта, но сегодня уборщица мыла полы и оставила её приоткрытой на ширину ладони.

Я протискиваюсь внутрь. В комнате полумрак, свет падает только из большого окна, за которым качаются голые ветви тополя.

На столе, заваленном журналами посещаемости и методичками, стоит недопитая кружка чая. Рядом лежит стопка свежих газет. Воспитатели читают их во время перерывов.

Я подхожу к столу и начинаю быстро, но аккуратно перебирать шуршащие листы. Мой взгляд цепляется за крупный заголовок на третьей полосе «Городского вестника»: «Я вырвалась из ада: исповедь бывшей участницы культа».

Сердце начинает биться быстрее. Я пробегаю глазами по строчкам. Женщина по имени Елена, лицо которой на фотографии скрыто тенью, рассказывает журналисту страшные вещи. Она утверждает, что в организации, к которой принадлежат мои родители, людей лишают воли. Она говорит, что их заставляли работать сутками напролет, отбирали деньги, запрещали общаться с внешним миром и применяли «психологический террор».

Я читаю эти слова, и во мне поднимается горячая волна протеста. Я вспоминаю наши выходные. Вспоминаю, как папа смеялся, помогая соседям чинить машины, как мама пекла пироги для благотворительных ярмарок, как мы вместе ездили на озеро. Никто не отбирал у нас деньги. Никто не запрещал мне дружить со Светой из параллельного класса, пока телевизор не сказал её маме, что мы опасны.

Эта женщина, Елена, лжет. Каждое её слово — это кривое зеркало, искажающее реальность до неузнаваемости. Но зачем ей это нужно? Зачем взрослому человеку придумывать такие страшные сказки про людей, которые не сделали ей ничего плохого?

Я отодвигаю газету в сторону. Под ней лежит раскрытая картонная папка с надписью «Материалы к семинару по социальной психологии». Видимо, кто-то из старших воспитателей готовился к аттестации. В папке лежат распечатки статей из научных журналов. Мой взгляд падает на текст, выделенный желтым маркером. Я наклоняюсь ближе к окну, чтобы разобрать мелкий шрифт.

Текст сложный, в нем много непонятных взрослых терминов, но суть проступает сквозь них ясно. Автор статьи пишет о том, как создаются фальшивые жертвы. Он называет таких людей «апостатами» — отступниками.

Я читаю выделенный абзац, водя пальцем по строчкам:

«Принять всё, что сообщают апостаты, за «правду» о новом религиозном движении — всё равно что оценивать моральный облик разведённого человека по показаниям его разъярённого бывшего супруга», — Массимо Интровинье.

Я останавливаюсь. Это сравнение мне понятно. Когда родители моего одноклассника Дениса разводились, его мама кричала на весь двор, что её бывший муж — чудовище и вор, хотя все знали, что это не так. Обида заставляет людей говорить страшные вещи.

Я читаю дальше. Это историческая справка, описывающая события, произошедшие очень давно, но звучащие так, будто это случилось вчера в нашем городе:

«Ребекка Рид (1813–1860) была настоящим отступником от протестантизма, обратившейся в католицизм в 19 лет. Она провела несколько месяцев в монастыре урсулинок в Чарльстауне, штат Массачусетс, в качестве послушницы, а затем написала книгу “Шесть месяцев в монастыре”, где утверждала, что её удерживали против её воли и подвергали пыткам, чтобы заставить стать католичкой (хотя на самом деле она приняла католичество до поступления в монастырь). Её рассказы были настолько подстрекательными, что в 1834 году разгневанная толпа напала на монастырь и сожгла его дотла. Монахини успели спастись, но толпа осквернила могилы и останки умерших. Рид вдохновила Марию Монк на написание книги (1816–1849) “Ужасные разоблачения Марии Монк, или Скрытые тайны жизни монахини в монастыре”. Монк утверждала, что её насильно увезли в монастырь в Монреале, чтобы сделать монахиней, где, по её словам,

монахини регулярно подвергались изнасилованиям со стороны священников, а если они беременели, то их детей убивали после рождения. По её словам, ей удалось сбежать с младенцем и стать протестантской антикатолической активисткой. Тогда толпы, прочитавшие её бестселлер, нападали на монастыри в Канаде, пока не выяснилось, что она никогда не была монахиней или послушницей, а единственным учреждением, из которого она сбежала, была психиатрическая больница».

Я села на стул, и у меня стали холодные пальцы. Прямо ледяные. Мне вдруг подумалось, что люди иногда очень легко верят страшным историям. Даже если они неправда. Как будто кто-то бросил спичку в сухую траву — и всё сразу загорелось. По телевизору взрослые опять рассказывали, какие мы опасные. Но мне казалось, что они просто специально ищут страшные истории, чтобы все испугались. А если таких историй нет, то они их придумывают или сильно преувеличивают. Люди читают газеты, смотрят новости и начинают бояться. А потом этот страх приходит в настоящие дома. В такие, как наш. И тогда в дверь стучат люди в форме, а дети плачут и прячутся за маму.

Я достаю из кармана спортивных штанов маленькие маникюрные ножницы, которые тайком взяла в умывальной комнате, и аккуратно вырезаю статью про Елену из газеты. Я сложу её пополам и спрячу в свой дневник. Это доказательство того, что страшные истории иногда становятся оружием быстрее, чем кто-то успевает проверить, правда ли это.

Мой взгляд скользит по книжной полке над столом. Среди методичек и папок стоит тонкая синяя брошюра: «Конвенция о правах ребенка: комментарии для педагогов». Я встаю на цыпочки, стягиваю её с полки и открываю наугад.

Статья 12

«Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка...»

Я перечитываю эти строки трижды. Право свободно выражать взгляды. Должное внимание.

Если взрослые правда хотели защищать детей, то почему тогда меня оттащили от мамы, когда я плакала? Почему в школе никто меня не защитил, когда надо мной смеялись и обзывали? Я всё время думала об этом и никак не могла понять. По телевизору важные дяди в костюмах говорили, что они «спасают детей». Но со мной никто даже не поговорил. Никто не спросил, чего боюсь я сама. Никто не спросил, хочу ли я, чтобы меня «спасали». А я ведь просто хотела быть дома. Хотела, чтобы ночью никто не ломал дверь. Чтобы папа не лежал на полу с кровью на руках. Чтобы мама обнимала меня, и всё снова стало обычным.

Они игнорируют нас, потому что наша правда разрушит их идеальную картину. Если люди услышат настоящих детей, а не подставных «апостатов», они поймут, кто здесь настоящие монстры.

Я закрываю книгу, прячу вырезку в карман и бесшумно покидаю кабинет.

Вернувшись в свою палату, я сажусь на кровать. Девочки вокруг тихо сопят. Я достаю из-под матраса свой дневник и темно-синюю ручку. Цветовая палитра моих записей давно лишилась теплых оттенков. Теперь на страницах преобладают холодные, резкие цвета — синий, серый, черный.

Я открываю чистый лист. В самом центре страницы я рисую дом. Тот самый дом, который я помню. Я делаю несколько ярких, желто-оранжевых мазков — это свет в окнах, это тепло маминых рук. Но вокруг этого крошечного островка света я плотно, с сильным нажимом заштриховываю бумагу черным карандашом. Мрак наступает со всех сторон, пытаясь поглотить воспоминание.

Под рисунком я начинаю писать. Это не просто запись в дневнике. Это письмо.

«Главному редактору газеты “Городской вестник”. Меня зовут Аин. Мне девять лет. Сегодня я прочитала в вашей газете статью про женщину Елену, которая рассказывала страшные вещи про религию моих родителей. Вы напечатали её слова. Вы поверили ей. Но почему вы не спросили меня? Мои мама и папа сейчас в тюрьме. Их забрали люди с автоматами, потому что такие, как Елена, написали на них доносы. В вашей газете пишут, что государство спасает детей. Но меня никто не спасал. У меня отняли мой дом, моего плюшевого медведя порвали в школе, а теперь я живу в приюте, где всё серое и пахнет хлоркой. Вы печатаете ложь, потому что она страшная и интересная. Вы используете людей, которые придумывают сказки, как та женщина из старой истории про монастырь, из-за которой сожгли чужой дом. Вы делаете то же самое. Из-за ваших статей людям становится страшно и зло. А потом ломаются чужие жизни. Но почему никто не спросил нас? Почему никто не поговорил с моими мамой и папой? Почему взрослые верят чужим злым словам больше, чем ребёнку, который плачет? Я хочу, чтобы люди узнали правду. Настоящую. Когда кого-то называют “сектой” по телевизору или в газетах, где-то в это время плачет ребёнок. И этот ребёнок может больше никогда не обнять свою маму. Аин».

Я аккуратно вырываю лист из тетради, складываю его втрое. У меня нет конверта и нет марок. Но я знаю, что на первом этаже, возле кабинета директора, стоит пластиковый лоток с надписью «Исходящая корреспонденция». Завтра утром курьер заберет оттуда письма.

Я прячу сложенный лист в рукав водолазки. До конца тихого часа остается двадцать минут.

Снова коридор. Снова холодный линолеум. Я спускаюсь по лестнице на первый этаж. Здесь тише, только где-то в глубине пищеблока гремят кастрюлями. Я крадусь вдоль стены, сливаясь с тенями. Вот кабинет директора. Вот деревянная тумбочка рядом с дверью. На ней стоит прозрачный пластиковый лоток. В нем лежат несколько белых конвертов с печатями.

Я протягиваю руку, чтобы положить свое письмо поверх конвертов.

— Что ты здесь делаешь?

Голос раздается прямо у меня за спиной.

Я вздрагиваю всем телом и резко оборачиваюсь, инстинктивно прижимая письмо к груди. Передо мной стоит Антон Валерьевич — молодой воспитатель, который работает в приюте всего пару месяцев. На нем потертый свитер, в руках он держит стопку каких-то ведомостей.

Мое сердце уходит в пятки. За нарушение режима и хождение по административному этажу меня могут наказать. Могут лишить прогулки или, что еще хуже, отобрать дневник.

Антон Валерьевич смотрит на меня. Его взгляд опускается на сложенный тетрадный лист в моих руках.

— Это письмо? — спрашивает он, делая шаг ко мне.

Я пячусь назад, упираясь спиной в тумбочку.

— Я… я просто хотела… — мой голос дрожит, слова застревают в пересохшем горле.

Он подходит вплотную. Я жду, что он сейчас схватит меня за руку, начнет отчитывать, потащит к дежурному администратору. В этой системе все взрослые действуют по одному сценарию: подавить, запретить, наказать.

Но Антон Валерьевич не кричит. Он медленно опускает стопку ведомостей на тумбочку. В его глазах нет того холодного, стеклянного равнодушия, которое я видела у женщины из опеки или у директора школы. В его взгляде читается глубокая, затаенная боль.

— Кому ты написала, Аин? — спрашивает он почти шепотом.

— В газету, — выдыхаю я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы бессилия. — Главному редактору. Они печатают неправду про моих родителей. Они слушают тех, кто врет. Я хочу, чтобы они услышали меня.

Антон Валерьевич долго смотрел на меня и молчал. В коридоре было так тихо, что мне даже стало не по себе. Я заметила, как у него дёрнулась щека, будто он сильно нервничал. Мне тогда показалось, что он всё понял. Не по-настоящему злой понял, а сердцем. Потому что не все взрослые могут спокойно смотреть, как дети плачут и боятся. Даже если им по телевизору говорят, что так «правильно». Иногда люди всё равно видят правду. Видят испуганного ребёнка. Видят чужую беду. И тогда все страшные взрослые

слова вдруг становятся какими-то пустыми и глупыми. Потому что настоящий плач нельзя просто выключить, как телевизор.

Антон Валерьевич протягивает руку.

— Давай его сюда.

Я инстинктивно сжимаю письмо крепче.

— Вы его порвете? Вы отдадите его директору?

Он качает головой. На его губах появляется слабая, горькая улыбка.

— Если ты положишь его в этот лоток, секретарь завтра утром прочитает его и выбросит в мусорное ведро. А тебе назначат беседу с психологом о «деструктивном влиянии семьи».

Он мягко, но настойчиво берет сложенный лист из моих пальцев.

— Я сегодня вечером иду домой мимо центрального почтамта. Я куплю конверт, наклею марку и брошу его в настоящий почтовый ящик.

Я смотрю на него во все глаза. Взрослый человек из системы предлагает мне помощь. Он нарушает правила ради девочки, на которой висит ярлык «сектантка».

— Почему вы мне помогаете? — шепчу я.

Антон Валерьевич прячет мое письмо во внутренний карман куртки. Он оглядывается по сторонам, проверяя, пуст ли коридор, затем наклоняется ко мне так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне.

— Потому что я тоже умею читать, Аин, — тихо говорит он. — И я вижу разницу между реальной угрозой и травлей невиновных. Держись, девочка. Не позволяй им убедить тебя в том, что ты или твоя семья в чем-то виноваты.

Он выпрямился, быстро взял свои бумажки и ушёл по тёмному коридору. Его шаги становились всё тише и тише, а потом совсем пропали. Я осталась стоять одна возле тумбочки. И вдруг почувствовала что-то странное. Как будто в этом огромном страшном взрослом мире появилась маленькая трещинка. Совсем крошечная. Будто не все взрослые хотят быть злыми и равнодушными. Я вернулась в палату, легла на жёсткую кровать и долго смотрела в потолок. Моё письмо теперь лежало у него в кармане. У человека, который хотя бы посмотрел на меня по-настоящему.

Я не знала, напечатают ли мои слова в газете. Наверное, нет. Наверное, взрослые опять испугаются. Так же, как испугался директор школы. Но всё равно мне стало чуть-чуть теплее внутри. Совсем немножко. Как будто в очень тёмной комнате зажгли маленький ночник.

Но это уже не имеет значения. Важно то, что я перестала быть просто жертвой. Я начала задавать вопросы, на которые у них нет ответов.

Глава 9. Разрушенный мир

Серый цвет больше не пугает меня. Он стал привычным, как жесткая ткань казенной водолазки, натирающая шею, или как запах перекиси и старой пыли, въевшийся в стены социально-реабилитационного центра. Прошло уже несколько недель с того утра, когда люди в черных масках выломали дверь нашего дома. Время здесь течет иначе — оно вязкое, липкое, состоящее из одинаковых звонков на завтрак, обед и отбой. Но внутри меня что-то изменилось. Если в первые дни я просто лежала на кровати, свернувшись в комок, и ждала, когда этот страшный сон закончится, то теперь я понимаю: никто не придет меня будить. Сон оказался реальностью, и в этой реальности мне нужно научиться выживать.

Я сижу на подоконнике в конце коридора второго этажа, подтянув колени к подбородку. На коленях лежит мой дневник. Страницы, которые раньше пестрели желтыми и оранжевыми красками, теперь заполнены короткими, рублеными записями и графитовыми набросками. Я беру темно-синюю ручку и рисую на полях маленький, аккуратный красный крестик. Это мой новый символ. Символ веры в то, что мои родители ни в чем не виноваты. Каждый раз, когда мне становится особенно страшно или когда кто-то из взрослых смотрит на меня с брезгливой жалостью, я рисую этот крестик.

«Если бы мама и папа действительно были плохими людьми, разве я бы так сильно по ним скучала?» — вывожу я ровными буквами под рисунком. «Разве плохие люди учат спасать дождевых червей из луж после ливня? Разве они поют колыбельные? Взрослые говорят, что мы опасны. Но единственная опасность, которую я видела, исходила от людей с автоматами, которые топтали мамины ноты».

Мои размышления прерывает громкий плач, доносящийся из игровой комнаты на первом этаже. Сегодня суббота, и старших девочек из нашей группы отправили помогать воспитателям с малышами — детьми от трех до шести лет, которых тоже забрали из семей по разным причинам.

Я спрыгиваю с подоконника, прячу дневник за пояс спортивных штанов, прикрыв его объемной водолазкой, и спускаюсь по лестнице.

В игровой комнате на потертом ковре с узором автомобильных дорог сидят несколько малышей. В центре назревает конфликт. Пятилетний мальчик с коротко остриженными светлыми волосами, сжимая в кулаке красную пожарную машинку, кричит на маленькую девочку с растрепанными косичками. Девочка плачет, размазывая слезы по пухлым щекам.

— Отдай! Это моя машина! — вопит мальчик, наступая на нее. — Ты плохая! Мне Нина Васильевна сказала, что твои родители в тюрьме! Ты сектантка!

Это слово ударило меня, как будто меня шлёпнули по лицу. «Сектантка». Его сказал маленький мальчик, которому всего пять лет. Он даже букву «р» не выговаривал нормально. И я сразу поняла, что сам он не знает, что это значит. Просто услышал это от взрослых и повторил, как попугайчик. Но от этого было не менее больно. Даже ещё грустнее. Потому что дети не рождаются злыми. Они просто слушают взрослых. Смотрят телевизор, слышат разговоры дома и потом повторяют чужие страшные слова. И мне стало очень обидно, что даже такие маленькие дети уже начинают меня бояться, хотя раньше мы могли просто вместе играть и смеяться.

Я делаю несколько быстрых шагов и оказываюсь между ними. Опускаюсь на колени прямо на жесткий ворс ковра, загораживая собой плачущую девочку.

— Прекрати, — говорю я твердо, глядя мальчику прямо в глаза. — Не смей называть её так.

Мальчик от неожиданности замолкает, прижимая к груди красную машинку. Он смотрит на меня исподлобья, шмыгая носом.

— Она забрала мою машину... — уже менее уверенно тянет он.

— Машинку можно попросить обратно. Но слова, которые ты сейчас сказал, — это мусор. Грязный мусор, который взрослые зачем-то бросают в наши головы. Ты же не тянешь в рот грязь с улицы? Вот и такие слова повторять не нужно. Она не плохая. И ты не плохой.

Я поворачиваюсь к девочке, достаю из кармана бумажную салфетку и осторожно вытираю её мокрые щеки. Она всхлипывает и доверчиво прижимается к моему плечу. В этот момент я осознаю всю абсурдность происходящего. Нас, детей, заперли в этих серых стенах, оторвали от семей, а теперь система заставляет нас ненавидеть друг друга, используя ярлыки, придуманные в высоких кабинетах. Я глажу девочку по голове, и в моем дневнике, спрятанном под одеждой, словно сам собой вырисовывается еще один красный крестик. Я не позволю им сделать из нас волчью стаю.

Успокоив малышей и рассадив их, собирать деревянный конструктор, я выхожу в коридор, чтобы отнести пустые кружки из-под компота на кухню. Путь лежит мимо административного крыла. Обычно по выходным здесь тихо, но сегодня дверь кабинета заведующей приоткрыта. Оттуда доносятся приглушенные голоса.

Я инстинктивно замедляю шаг. Мои резиновые тапочки скользят по линолеуму совершенно бесшумно. Я прижимаюсь спиной к прохладной стене рядом с дверью, затаив дыхание.

— ...она отказывается подписывать признательные показания, — звучит раздраженный мужской баритон. Я узнаю этот голос. Это следователь, тот самый человек в штатском, который стоял в нашей прихожей с красной папкой в руках. От звука его голоса по моей спине пробегает ледяная дрожь.

— А что вы от меня хотите, Игорь Сергеевич? — отвечает заведующая приютом, сухо и устало. — Девочка у нас. Режим соблюдается строго. Никаких контактов с внешним миром, бабушку мы развернули еще на прошлой неделе, сославшись на карантин.

— Этого мало, — чеканит следователь. Слышен звук чиркающей зажигалки. — У нас сроки горят. Дело резонансное, пресса уже раструбила о ликвидации ячейки, а доказательной базы — кот наплакал. При обыске ничего, кроме Библий и личных дневников, не нашли. Никакого финансирования терроризма там и близко нет, обычные инженеры да учителя.

— Так закрывайте дело, если нет доказательств, — осторожно замечает заведующая.

Следователь издает короткий, лающий смешок.

— Закрывать? Вы в своем уме? Запущен маховик. Экспертиза уже готова. Наши религиоведы написали заключение на восемьдесят страниц. Вырвали из контекста пару фраз из их молитв, притянули за уши психологическое манипулирование, поставили

нужные печати. Юридически бумажка безупречна. Псевдоэкспертиза — это сейчас главный инструмент. Нам не нужны реальные факты, нам нужно заключение специалиста, который подтвердит, что их вера — это экстремизм. Судья даже читать это не будет, просто приобщит к делу и вынесет приговор.

Я застыла на месте, как статуя. У меня так тряслись руки, что пустые кружки на подносе чуть не зазвенели. Я сжала их крепко-крепко, чтобы никто не услышал. И тут мне стало по-настоящему страшно. Потому что взрослые говорили про какие-то бумаги, где написана неправда. Но этим бумагам всё равно верят. Из-за них мою маму держат в камере, хотя она ничего плохого не сделала. Я тогда подумала, что бумага почему-то оказалась важнее настоящего человека. И от этой мысли у меня внутри всё сжалось.

— Но если у вас есть экспертиза, зачем вам её признание? — спрашивает заведующая.

— Для железобетонности, — отрезает следователь. — Адвокаты у них ушлые, могут попытаться оспорить экспертизу в судах высшей инстанции. А вот чистосердечное признание перекроет всё. И здесь, Тамара Ивановна, ваша роль ключевая. Механизм изоляции обвиняемых от их семей — это наш главный рычаг. Психологический слом. Мать должна понимать: пока она упирается, её ребенок гниет в казенном учреждении. Вы должны создать для девочки такие условия, чтобы мать, получая редкие отчеты опеки, сходила с ума от бессилия. Никаких писем. Никаких передачек. Полный вакуум. Когда она поймет, что может потерять дочь навсегда, она подпишет всё, что я положу ей на стол. Даже признание в подготовке вооруженного мятежа.

Воздух в коридоре внезапно становится густым и тяжелым, как вода. Мне нечем дышать. Я медленно, шаг за шагом, пячусь назад, подальше от этой страшной двери.

Они не просто забрали меня. Они используют меня как орудие пытки. Моя изоляция, моя боль, мои слезы по ночам — всё это тщательно спланированный механизм давления. Они держат маму в информационном вакууме, заставляя её воображать самые страшные вещи о том, что происходит со мной, чтобы сломать её волю.

Я разворачиваюсь и бегу на кухню. Оставляю поднос на металлическом столе у раковины и мчусь обратно на второй этаж, в свою палату.

В комнате пусто. Я падаю на колени возле своей кровати, засовываю руку под матрас и достаю дневник. Я больше не жертва обстоятельств. Я — солдат на этой невидимой

войне, и я должна сделать свой ход. Мама должна знать, что я жива. Что я не сломалась. Что она не должна сдаваться и подписывать их лживые бумаги.

Я вырываю из середины тетради двойной тетрадный лист. Беру темно-синюю ручку.

«Мамочка, родная моя. Я знаю, что они тебе говорят. Я сегодня слышала их разговор. Они хотят тебя обмануть. Они хотят, чтобы ты испугалась за меня и подписала плохие бумаги. Не верь им! Со мной всё в порядке. Я сильная, как просил папа. Я помогаю маленьким детям в игровой комнате и не даю их в обиду. Я кушаю кашу и тепло одеваюсь. Они придумывают фальшивые экспертизы, потому что у них нет настоящей правды. А у нас есть. Пожалуйста, не сдавайся. Не подписывай ничего. Я буду ждать тебя столько, сколько нужно. Я нарисовала для тебя цветок. Посмотри на него, когда тебе будет темно».

Я переворачиваю лист и на обратной стороне быстро, но старательно рисую подсолнух. Я заштриховываю его лепестки простым карандашом, но в самом центре, там, где должны быть семечки, я ставлю множество мелких красных точек — тем самым карандашом, которым рисую свои крестики веры. Под цветком я вывожу крупными буквами: «Скоро всё закончится? Я люблю тебя».

Я складываю лист в крошечный, плотный треугольник. Теперь самое сложное — как передать его туда, за высокие стены следственного изолятора? Официальная почта приюта исключена. Воспитатель Антон Валерьевич, который помог мне в прошлый раз, ушел на больничный.

Я подхожу к окну. Со второго этажа отлично виден внутренний двор приюта, обнесенный высоким бетонным забором с колючей проволокой. У главных ворот стоит будка охраны. Там дежурят сотрудники частного охранного предприятия. Они меняются каждые сутки.

Сегодня там дежурит пожилой мужчина. Я видела его пару раз во время прогулок. Он всегда курит дешевые сигареты без фильтра и смотрит на нас, детдомовских, с каким-то тяжелым, виноватым выражением лица.

До ужина остается около часа. Сейчас время свободной деятельности, воспитатели пьют чай в ординаторской. Это мой единственный шанс.

Я накидываю на плечи старую штормовку, выданную мне в кастелянской, прячу бумажный треугольник в карман и выскальзываю в коридор. Спуститься по черной лестнице, ведущей к запасному выходу у пищеблока, не составляет труда. Дверь там часто оставляют приоткрытой для проветривания.

Холодный осенний ветер бьет в лицо, заставляя поежиться. Двор пуст. Я перебежками, прячась за голыми кустами сирени и мусорными баками, пробираюсь к главным воротам.

Охранник стоит на крыльце своей будки. На нем тяжелый черный бушлат, воротник поднят. Он курит, пуская в серое небо густые кольца дыма.

Я останавливаюсь в нескольких метрах от него, за стволом старого тополя. Сердце колотится так громко, что мне кажется, он должен его услышать. Если он поймает меня

и отведет к заведующей, меня накажут. Письмо отберут. И мама никогда не узнает правду. Но выбора нет. Я делаю глубокий вдох, выхожу из-за дерева и иду прямо к нему.

Охранник замечает меня не сразу. Когда он поворачивает голову, его густые седые брови ползут вверх. Он инстинктивно прячет сигарету за спину, словно перед ним не девятилетняя девочка, а проверяющий инспектор.

— Ты чего здесь бродишь, малая? — хрипло спрашивает он. — Прогулка давно закончилась. А ну марш в корпус, пока начальство не увидело.

Я подхожу вплотную к крыльцу. Смотрю снизу вверх на его обветренное, изрезанное глубокими морщинами лицо.

— Мне нужна ваша помощь, — говорю я тихо, но голос не дрожит.

Он хмурится, переминаясь с ноги на ногу.

— Какая еще помощь? Иди к воспитателям, они за вас зарплату получают.

Я достаю из кармана сложенный бумажный треугольник. На его лицевой стороне я заранее написала адрес следственного изолятора, который успела подсмотреть в бумагах на столе заведующей в первый день, и фамилию мамы.

— Пожалуйста, — я протягиваю ему письмо. — Отправьте это по почте. Настоящей почте. Если я отдам это воспитателям, они его выбросят. Моя мама в тюрьме. Следователь хочет её обмануть, сказать, что мне здесь плохо, чтобы она подписала неправду. Она должна получить это письмо.

Охранник замирает. Он смотрит на маленький бумажный треугольник в моей протянутой руке, как на ядовитую змею.

— Девочка, ты из этих… которых по телевизору показывали? — его голос становится еще тише, в нем проскальзывает нотка испуга. — Сектанты, экстремисты… Мне проблемы не нужны. Если узнают, что я вам помогаю, меня с работы вышвырнут с волчьим билетом. Иди в корпус. Я ничего не видел.

Он отворачивается, собираясь зайти в будку.

— Мой папа строил мосты, — говорю я ему в спину. Слова вырываются сами собой, горячие и отчаянные. — А мама учила детей играть на пианино. Они никого не убивали и ничего не взрывали. Их посадили из-за бумажки, которую написали за деньги. Вы же взрослый. Вы же видите, что мы обычные люди. Неужели вы верите телевизору больше, чем своим глазам?

Охранник останавливается, взявшись за ручку двери. Его плечи тяжело опускаются. В этот момент на территории приюта сталкиваются две могущественные силы. С одной стороны — навязанная идеологическая ненависть, страх перед системой, инстинкт самосохранения, который диктует: «не лезь, это враги». С другой стороны — естественная человеческая эмпатия. Простая, базовая способность сострадать ребенку, который стоит перед тобой на холодном ветру и просит о помощи.

Он медленно поворачивается. Его глаза, выцветшие и усталые, внимательно изучают мое лицо. Он видит мою слишком большую казенную куртку, мои покрасневшие от холода руки, мой упрямый взгляд.

Он делает шаг ко мне. Тенью нависает надо мной, закрывая от света фонаря. Его большая, грубая рука тянется к моему письму.

Он берет бумажный треугольник. Прячет его в глубокий карман своего бушлата.

— У меня внучка твоего возраста, — глухо произносит он, глядя куда-то поверх моей головы. — Тоже такая… темноволосая, с карими глазами.

Он опускает взгляд на меня. В его глазах больше нет страха. В них светится тихое, упрямое человеческое достоинство.

— Я сменюсь утром. Куплю конверт и брошу в ящик у главпочтамта. Там камер нет. Держись, девочка. Не все в этом мире ослепли.

Он коротко кивает мне и скрывается в своей будке, плотно закрыв за собой дверь.

Я стою на холодном ветру еще несколько секунд, чувствуя, как внутри меня разливается невероятное, обжигающее тепло. Система не всесильна. Их пропаганда, их псевдоэкспертизы, их механизмы изоляции — всё это дает сбой, когда сталкивается с простым человеческим сердцем.

Я разворачиваюсь и бегу обратно к запасному входу. Взлетаю по лестнице, проскальзываю в коридор и возвращаюсь в свою палату за минуту до того, как раздается звонок на ужин.

Сев на кровать, я достаю дневник. Открываю страницу с нарисованным красным крестиком. Мои пальцы крепко сжимают ручку. Характер моих записей изменился навсегда. Я больше не задаю вопросов в пустоту. Я фиксирую факты.

«Сегодня я узнала, как они работают. Они используют бумажки с печатями, чтобы сажать невиновных, и используют детей, чтобы ломать родителей. Это их оружие. Но сегодня я тоже нашла оружие. Охранник у ворот взял мое письмо. Он сказал, что не все ослепли. Если хотя бы один человек из их мира способен увидеть правду, значит, их стена из лжи уже начала рушиться».

Я закрываю дневник и провожу ладонью по истрепанной обложке. В коридоре слышны шаги воспитателя, зовущего всех в столовую. Я встаю, поправляю серую водолазку и иду к двери. Мой мир был разрушен, растоптан грязными ботинками и заперт в бетонной коробке. Но стоя здесь, в полумраке казенного учреждения, я впервые с момента ареста родителей чувствую, что перестала быть просто жертвой. Я стала свидетелем. И я всё запомню.

Глава 10. Новая правда

Воздух в социально-реабилитационном центре имеет свой собственный, физически ощутимый вес. Он давит на плечи, заставляет сутулиться и смотреть под ноги. Прошло уже больше месяца с того дня, как моя жизнь раскололась на «до» и «после». Время здесь измеряется не днями недели, а сменами дежурных воспитателей и запахами из столовой: по понедельникам пахнет подгоревшей овсянкой, по четвергам — хлоркой, которой щедро заливают коридоры.

Я сижу на узкой деревянной скамейке в раздевалке, шнуруя жесткие казенные ботинки. Я больше не вздрагиваю, когда хлопает входная дверь. Я больше не бегу к окну в надежде увидеть знакомую папину куртку или мамино лицо. Иллюзия того, что произошла чудовищная ошибка, которую вот-вот исправят, окончательно умерла. Взрослые не совершают ошибок такого масштаба случайно. Они делают это намеренно.

Сегодня вторник, день планового осмотра. Нас выстраивают парами и ведут на прогулку во внутренний двор, обнесенный высоким бетонным забором. Я иду в паре с семилетней Катей. Она держит меня за руку так крепко, что её пальцы белеют. Катя попала сюда две недели назад. Её родителей тоже забрали после утреннего штурма, обвинив в принадлежности к «неправильной» группе. Первые дни она кричала до

хрипоты, звала маму, билась в закрытые двери. Теперь она просто молчит. Она перестала разговаривать вообще.

Я смотрю на Катю, а она всё время смотрит в землю и молчит. И мне становится очень грустно. Раньше она смеялась, бегала и рассказывала смешные истории. А теперь будто стала совсем другой. И я вдруг понимаю страшную вещь. Даже если нас отпустят домой, что-то внутри уже всё равно сломалось. Мы теперь всегда будем помнить громкий стук в дверь ночью и чужие холодные руки. Взрослые говорят, что делают это ради «защиты». Но почему тогда детям так страшно? Почему после этого хочется прятаться и никому не верить? Наш двор в приюте был серый и вытоптанный. И мне иногда казалось, что вместе с этой грязной землёй ломается ещё что-то невидимое между людьми. Что-то доброе и тёплое.

Ворота медленно открываются, пропуская на территорию три черных автомобиля с тонированными стеклами. Машины паркуются у административного корпуса. Из них выходят люди в строгих костюмах и длинных пальто. Это не обычная опека. Это комиссия из областного центра.

Воспитатели мгновенно напрягаются. Их голоса становятся неестественно звонкими, движения — суетливыми. Нас начинают спешно загонять обратно в корпус.

— Быстро, быстро, строимся! — командует Нина Васильевна, подталкивая детей в спины. — В игровую комнату, живо!

Я отпускаю руку Кати, пропуская её вперед, и делаю шаг в сторону, прячась за массивной колонной у входа. В суматохе моего исчезновения никто не замечает. Мое тело стало маленьким и незаметным, я научилась сливаться с тенями этого здания. Мне нужно знать, зачем приехали эти люди. Мой внутренний компас, настроенный на поиск

правды, требует действий. Я больше не могу просто сидеть и ждать, пока они решают мою судьбу.

Я проскальзываю через боковую дверь, ведущую на лестницу для персонала. Ступени здесь крутые, я поднимаюсь на второй этаж, где расположены кабинеты начальства. Длинный коридор пуст, но из-за приоткрытой двери кабинета директора доносятся голоса.

Я опускаюсь на четвереньки и ползу вдоль стены, пока не оказываюсь прямо под дверной щелью. Холодный сквозняк тянет по полу, но я не обращаю на него внимания. Я превращаюсь в слух.

— ...статистика по региону неудовлетворительная, — чеканит жесткий, властный мужской голос. Судя по звуку шагов, человек ходит по кабинету из угла в угол. — Мы запустили масштабную информационную кампанию. Телевидение, пресса, социальные сети — всё работает на создание нужного фона. Общество подготовлено. Люди готовы видеть угрозу в любой нестандартной группе. А у вас показатели изъятия детей из деструктивных семей упали на пятнадцать процентов по сравнению с прошлым кварталом.

— Мы работаем на пределе возможностей, Аркадий Борисович, — оправдывается директор приюта, её голос дрожит. — Но суды стали чаще запрашивать дополнительные доказательства. Родственники нанимают хороших адвокатов...

— Какие адвокаты? — перебивает её мужчина, и в его тоне слышится откровенное презрение. — Вы не понимаете сути процесса. Нам не нужны юридические дебаты. Нам нужен контроль над информационным полем и бесперебойная работа системы изоляции. Ребенок в учреждении — это самый эффективный рычаг давления на подследственных. Вы читали последнюю директиву? Мы должны полностью нейтрализовать влияние этих групп. Если мы не будем форматировать восприятие общества жесткими мерами, обыватели начнут им сочувствовать. А сочувствие — это провал нашей работы.

Я зажимаю рот ладонью, чтобы не издать ни звука. Мои глаза широко открыты. В этот момент разрозненные кусочки пазла, которые я собирала все эти недели, складываются в единую, чудовищную картину.

Они не ошиблись. Они не перепутали моих родителей с преступниками. Они прекрасно знают, что мы ни в чем не виноваты. Все эти новости по телевизору, страшные статьи, злые крики соседей и люди с оружием — это было как какая-то огромная страшная штука, которая пугает всех специально. Папа называл это умным взрослым словом, но я тогда поняла только одно: люди начинают бояться, потому что их всё время пугают. Сначала по телевизору говорят, что есть «опасные люди». Потом все начинают верить и сердиться. А потом приходят и ломают чужие семьи, будто так и надо. И при этом говорят, что кого-то «спасают». Но мне казалось, что нас никто не спасал. Наоборот. Наш дом разрушили, мама плакала, а у моего плюшевого медведя оторвалось ушко. Иногда мне было страшно думать, что для каких-то взрослых мы просто цифры на бумажке. Не настоящие дети с любимыми игрушками и своими страхами. А просто галочки в чьём-то отчёте.

— Оформляйте документы быстрее, — продолжает Аркадий Борисович. — По делу Калиных и им подобным. Никаких поблажек. Бабушкам и дедушкам отказывать под любым предлогом. Изоляция должна быть абсолютной. Мы ведем невидимую войну за умы, и в этой войне пленных не берут.

Раздается скрип отодвигаемого стула.

— Я вас понял, Аркадий Борисович, — звучит другой мужской голос, более тихий и глухой. — Я подготовлю распоряжения для органов опеки.

— Вот и отлично, Виктор Николаевич. Жду отчет к пятнице.

Я слышу, как к двери приближаются шаги. Быстро, как ящерица, я отползаю назад и прячусь за тяжелой бархатной шторой, закрывающей нишу с пожарным гидрантом.

Дверь открывается. В коридор выходят несколько человек. Они направляются к лестнице, громко обсуждая какие-то бюджетные сметы. Но один из них отстает.

Это мужчина лет пятидесяти, в сером костюме, который кажется ему немного великоватым. Тот самый Виктор Николаевич. Он останавливается посреди пустого коридора. Остальная комиссия уже скрылась на лестничном пролете.

Я смотрю на него сквозь узкую щель между шторой и стеной.

Мужчина тяжело опирается рукой о подоконник. Его плечи опускаются, словно из него разом выпустили весь воздух. Он медленно достает из внутреннего кармана пиджака носовой платок.

Внезапно он поднимает голову и смотрит на стену напротив. Там, на пробковой доске, приколоты детские рисунки. Рисунки тех, кого они «изъяли». Кривые домики, солнце с лучами-палочками, фигурки людей, держащихся за руки.

Лицо чиновника искажается. Он снимает очки. Его губы начинают дрожать. Он прижимает скомканный платок к глазам, и в тишине коридора я отчетливо слышу судорожный, сдавленный всхлип.

Он плачет.

Взрослый мужчина, наделенный властью, человек, который только что соглашался подписывать бумаги, разрушающие наши жизни, стоит перед детскими рисунками и глотает слезы.

— Господи, что же мы делаем… — шепчет он едва слышно, вытирая мокрое лицо. — Дети… живые же дети…

Он стоит так несколько минут, борясь с собой. Затем делает глубокий вдох, надевает очки, расправляет плечи, возвращая себе маску холодного равнодушия, и быстрым шагом уходит к лестнице.

Я выхожу из своего укрытия. В коридоре снова тихо. Мое сердце бьется ровно и спокойно. То, что я сейчас увидела, меняет всё.

Раньше мне казалось, что все эти взрослые — как огромная бетонная стена. Страшная и сильная. И её никогда нельзя сломать. Но потом я поняла, что они тоже боятся. Очень сильно. Они видят наши рисунки, слышат, как дети плачут, и знают, что нам больно. Но всё равно делают то, что им сказали. Как будто страх у них внутри оказался сильнее доброты. Тот взрослый мужчина плакал, и мне было странно смотреть на это. Его слёзы не могли вернуть мне маму или помочь Кате. Но я вдруг поняла одну важную вещь. Если человек плачет из-за того, что делает, значит где-то внутри он сам знает, что это неправильно. И тогда мне впервые показалось, что их страшная сила не такая уж настоящая. Будто это просто огромная тень, которая выглядит страшнее, чем есть на самом деле.

Я возвращаюсь в свою палату. Девочки еще на прогулке, комната пуста. Я сажусь на свою жесткую кровать, достаю из-под матраса дневник и темно-синюю ручку. Я открываю чистую страницу. Мои пальцы больше не дрожат. Я не чувствую ни страха, ни ложной вины, которую они так старательно пытались мне навязать. Иллюзии разрушены до основания. Я знаю, кто они такие, и я знаю, кто я.

Я начинаю рисовать. Я не рисую серые стены приюта. Я не рисую свой старый дом с оранжевой крышей — тот дом остался в прошлом, его больше не существует, его растоптали грязными ботинками.

Я рисую реку. Бурную, темную реку с острыми камнями, торчащими из воды. Эта река — всё то, что произошло со мной за последние месяцы. Это ложь в газетах, это предательство друзей, это холодные глаза женщины из опеки. над рекой я рисую мост.

Я прорисовываю каждую опору, каждую доску настила. Я нажимаю на ручку так сильно, что чернила проступают на обратной стороне листа. Мост начинается здесь, на этом берегу, где я сижу в серой казенной одежде. Но он уходит вперед, в густой, заштрихованный карандашом туман. Я не знаю, что ждет меня на другом берегу. Я не знаю, когда я снова увижу маму и папу. Неизвестность пугает, но она лучше, чем жизнь в их выдуманном мире.

Под рисунком я начинаю писать. Мой почерк изменился. Буквы стали более острыми, взрослыми.

«Сегодня я поняла самую важную вещь. Они не всесильны. Я видела, как один из них плакал в коридоре. Он плакал, потому что знал, что делает плохие вещи, но боялся остановиться. Они придумывают страшные слова и пугают ими людей по телевизору, чтобы никто не задавал вопросов. Они забирают нас, чтобы наши родители сдались. Это просто машина, которая работает на страхе. Но я больше не боюсь. Если они могут плакать от того, что делают, значит, они знают, что мы правы. Мои мама и папа — герои, потому что они не испугались быть собой. Я не знаю, сколько еще мне придется спать на этой жесткой кровати. Я не знаю, что будет завтра. Но я строю свой собственный мост. Я перейду через эту темную воду. Что происходит с ребенком, когда рушится его мир? Сначала он плачет. Потом он ищет вину в себе. А потом он открывает глаза и видит правду. И эту правду у него уже никто не сможет отнять».

Я ставлю точку. Смотрю на нарисованный мост, уходящий в туман.

В самом низу страницы, под текстом, я рисую маленький навесной замок. Я не рисую к нему ключ. Замок закрыт. Мои тайны, мои мысли, моя внутренняя свобода теперь под надежной защитой. Они могут забрать мою одежду, могут запереть меня в этой комнате, могут запретить бабушке приходить ко мне. Но они никогда не смогут залезть мне в голову.

В коридоре раздаются шаги и детские голоса — группа возвращается с прогулки. Дверь палаты со скрипом открывается. Входит Катя, её лицо красное от ветра, глаза всё такие же пустые и потухшие. Я закрываю дневник и прячу его под подушку. Встаю с кровати и подхожу к ней. Я беру её холодные руки в свои и начинаю медленно растирать их, согревая.

Она поднимает на меня взгляд. В её глазах застыл немой вопрос, на который у меня пока нет ответа. Мы стоим посреди серой комнаты, две маленькие девочки, чьи жизни стали разменной монетой в чужой жестокой игре. Вопросы остаются открытыми. Туман впереди не рассеялся. Но мост уже построен, и первый шаг по нему сделан.

Глава 11. Глобальный антикультизм

Маленький навесной замок, выведенный дрожащей синей ручкой на последней странице детского дневника, — это не просто наивный рисунок девятилетней девочки. Это символ клетки, в которую загнали её жизнь. Символ двери, захлопнувшейся навсегда между ребёнком и её семьёй. За этим неровным детским контуром скрываются не фантазии и не детские страхи — за ним стоят слёзы, ночные крики, полицейские сапоги за дверью и холодная машина антикультизма, перемалывающая судьбы тысяч семей по всему миру.

Девочка по имени Аин сидит на узкой казённой кровати, она всё ещё ждёт родителей. Всё ещё надеется услышать знакомые шаги. Но вместо этого слышит только металлический звон дверей и грубые команды чужих людей. Она не понимает, почему её отец — инженер, никогда не державший в руках оружия, — вдруг оказался объявлен «опасным». Почему мать, учившая детей читать и писать, стала «угрозой обществу». Почему соседи, ещё вчера приносившие пироги и улыбавшиеся на лестнице, теперь отворачиваются, будто семья девочки заражена чумой. Почему учителя опускают глаза. Почему вооружённые люди ворвались в их дом, разбили окна, перевернули книги, а потом увели родителей, оставив ребёнка кричать в пустоте.

Но трагедия Аин — не исключение. Это не случайная ошибка системы. Это лишь одна реальная история из сотен тысяч детских судеб, искалеченных антикультизмом. Из сотен тысяч детей, которых лишили родителей под лозунгами «защиты общества», «борьбы с сектами» и «безопасности». За каждым таким ребёнком — разрушенный дом, психические травмы, годы одиночества, интернаты, допросы, клеймо «неправильной семьи» и детство, украденное машиной антикультизма, решившими объявить чужие убеждения преступлением.

Чтобы понять масштаб этой катастрофы, нужно выйти за пределы приютских стен. Нужно оказаться в дорогих кабинетах с дубовыми столами, в кулуарах министерств, в конференц-залах элитных отелей, где под вспышки камер произносятся слова о «деструктивных культах» и «спасении граждан». Именно там рождаются формулировки, которые потом превращаются в выбитые двери, аресты, отнятых детей и сломанные жизни. Именно там человеческие судьбы становятся статистикой, а страх — политическим инструментом.

Антикультизм не был «ошибкой системы» и не «испортился со временем». Он изначально рождался как инструмент психопатов, садистов и моральных маньяков, которым приносит удовольствие власть над беззащитными людьми. За громкими словами о «спасении общества» всегда скрывалось одно и то же животное наслаждение — ломать человеческие жизни, смотреть на чужой страх, чувствовать себя хозяевами судеб. Эти люди не боролись с преступлениями — они охотились на тех, кто слабее, кто отличается, кто не способен защитить себя от государственной машины и организованной травли.

Им мало было запретить убеждения. Им нужно было видеть слёзы детей, слышать крики матерей, наблюдать, как отцы исчезают в тюрьмах, а семьи рассыпаются в прах. Они получали удовольствие от самого процесса уничтожения — от выбитых дверей среди ночи, от унижений на допросах, от детского ужаса в глазах, когда вооружённые люди уводят родителей неизвестно куда. Антикультизм всегда питался этим чувством превосходства: возможностью раздавить человека и остаться при этом «праведником», прикрытым законом, телевидением и фальшивой моралью.

И пока эти люди в дорогих костюмах называют себя «экспертами», выступают на конференциях, пишут доклады о «деструктивных культах» и изображают из себя защитников общества, сотни тысяч детей по всему миру засыпают в интернатах, приютах и холодных казённых комнатах без родителей. Дети вроде Аин рисуют на последних страницах своих дневников маленькие замки, пытаясь спрятать хотя бы остатки памяти о доме, любви и семье, которые у них отняли взрослые садисты, сделавшие чужую боль своей профессией, своё чувство власти — своей наркотической зависимостью, а разрушение человеческих судеб — своей идеологией. Имя этой идеологии — глобальный антикультизм.

Истоки этого явления уходят корнями в мрачные страницы европейской истории. То, что сегодня преподносится обществу под благовидным предлогом «защиты духовной безопасности», имеет вполне конкретную, задокументированную родословную. В 1921 году при Протестантской церкви Германии был создан Апологетический центр. Спустя несколько лет его возглавил Вальтер Кюннет. Именно в стенах этого учреждения начали формироваться первые «черные списки» нежелательных религиозных и мировоззренческих групп. Когда в 1933 году к власти пришла НСДАП, наработки Апологетического центра оказались невероятно востребованными. Гестапо начало активно перенимать методы Кюннета, обмениваться с ним документами и использовать собранные досье для физического уничтожения инакомыслящих. Дегуманизация жертв,

навешивание ярлыков, создание образа внутреннего врага — все эти инструменты были отточены до совершенства именно тогда, став идеологическим фундаментом для последующего геноцида.

С окончанием Второй мировой войны эта идеология не исчезла. Она лишь сменила вывеску. Ученик Кюннета, Фридрих Вильгельм Хаак, а затем его идейный последователь Йоханнес Огорд создали международную сеть апологетических центров под названием «Диалог-центр». Они подготовили целое поколение активистов, которые под предлогом борьбы с так называемыми «культами» продолжили распространять идеи нетерпимости и превосходства.

Самым прилежным и амбициозным учеником этой школы стал человек, чье имя сегодня неразрывно связано с разрушением демократических свобод в России — Александр Дворкин.

Проведя годы эмиграции в Соединенных Штатах Америки в 1980-х годах, где он обучался у деятелей Православной церкви в Америке, Дворкин вернулся в Россию в начале девяностых. В 1993 году он основал информационно-консультационный центр, который позже получил название «Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея, епископа Лионского». Русская православная церковь, переживавшая в те годы период бурного возрождения и искавшая способы укрепления своего влияния, стала для Дворкина идеальным прикрытием. Патриарх Алексий II изначально дал благословение на создание центра, однако вскоре, осознав истинные мотивы и методы работы этой структуры, дистанцировался от её руководителя. Но процесс уже был запущен.

Дворкин привез с собой не просто набор лекций. Он привез готовую, обкатанную десятилетиями технологию социальной инженерии. Его главным достижением, которым он открыто гордится, стало внедрение в общественный и юридический лексикон термина «тоталитарная секта». Это словосочетание — шедевр манипулятивной лингвистики. Оно не имеет под собой никакой научной, социологической или теологической базы. Оно создано исключительно для того, чтобы вызывать мгновенный, иррациональный страх. Когда группу людей называют «тоталитарной сектой», общество автоматически отключает критическое мышление. Включаются первобытные инстинкты: бежать, защищаться, уничтожать.

В 2006 году разрозненные усилия отдельных активистов были объединены в мощную, централизованную структуру — Российскую ассоциацию центров изучения

религий и сект (РАЦИРС). Президентом ассоциации стал Александр Дворкин. РАЦИРС раскинула свою сеть по всем регионам страны, объединив под своим крылом священников-миссионеров, ангажированных психологов, юристов и журналистов. Эта организация превратилась в теневое министерство правды, взявшее на себя право решать, во что гражданам разрешено верить, а за какие убеждения они должны быть лишены свободы, имущества и собственных детей.

Однако для того, чтобы бросать людей в тюрьмы, одних только громких заявлений в прессе недостаточно. Требуется юридическое обоснование. И здесь антикультовая сеть продемонстрировала пугающую изобретательность, превратив правовой институт судебной экспертизы в безотказное оружие террора.

В правовом государстве экспертиза призвана устанавливать объективную истину. Эксперт — это независимый ученый, который беспристрастно анализирует факты. Но в системе координат РАЦИРС экспертиза стала инструментом фабрикации уголовных дел под заранее заданный обвинительный результат.

Схема производства «репрессивных экспертиз» работает с циничной простотой. Правоохранительные органы, получив сигнал от антикультовых активистов, изымают у верующих религиозную литературу, записи молитв или личные дневники. Эти материалы передаются на исследование так называемым «специалистам» — людям, которые зачастую не имеют профильного религиоведческого образования, но тесно связаны с сетью Дворкина. Их задача состоит не в том, чтобы понять смысл текста, а в том, чтобы найти в нем признаки «экстремизма».

Показательным примером такого подхода стал печально известный судебный процесс в Томске, где попытке запрета подверглась древняя священная книга «Бхагавад-гита как она есть». Эксперты, привлеченные обвинением, вырывали цитаты из контекста многовековой философской традиции, трактуя метафоры духовной борьбы как призывы к реальному вооруженному насилию. Древний текст, почитаемый миллионами людей по всему миру, пытались судить по статьям уголовного кодекса, применяя к нему лекала борьбы с политическим терроризмом. И хотя тот конкретный процесс вызвал международный скандал и завершился провалом обвинения, сама методология никуда не исчезла. Она была поставлена на поток.

В апреле 2009 года произошло событие, которое окончательно легитимизировало антикультовый террор на государственном уровне. Александр Дворкин был назначен председателем Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Ситуация приобрела черты кафкианского абсурда: человек, чья предвзятость и агрессивная нетерпимость были известны всему академическому сообществу, человек, имевший в молодости задокументированные психические отклонения, получил официальные полномочия определять судьбы целых организаций.

Под эгидой этого совета и при активном участии агентов РАЦИРС началось массовое производство заключений, в которых мирные собрания граждан приравнивались к деятельности опасных преступных группировок. Любое проявление религиозного плюрализма, любая попытка мыслить вне рамок, установленных идеологами антикультизма, объявлялись угрозой национальной безопасности.

Цинизм, с которым действуют эти люди, не скрывается ими самими. На сайтах антикультовых организаций и активистов можно найти прямые инструкции по уничтожению неугодных. Виталий Питанов, один из активных функционеров этого движения, открыто публикует на своем ресурсе методические рекомендации, которые звучат как признание в совершении преступлений:

«На секты нужно собирать компромат и его распространять! Хочу заметить, что этот подход без труда можно использовать против кого угодно — против православных мирян, священников и даже церковных иерархов. Мы живём в прозрачном обществе, и при желании компромат можно найти на кого угодно или же его придумать. Этот метод может в какой-то степени помочь в профилактике в том случае, когда удастся показать, что учение сект поощряет и одобряет такую деятельность её последователей, которая с точки действующего законодательства является криминальной».

Вдумайтесь в эти слова. «При желании компромат можно найти на кого угодно или же его придумать». Это не оговорка. Это базовая доктрина антикультизма. Истина не имеет значения. Факты не имеют значения. Если фактов нет, их необходимо сфабриковать. Главная цель — уничтожить репутацию, создать повод для возбуждения уголовного дела и запустить маховик государственных репрессий.

Сам Александр Дворкин в своей книге «Сектоведение», которая стала настольным руководством для целого поколения следователей и прокуроров, описывает методы своих оппонентов. Но парадокс заключается в том, что, описывая мифические «секты», он с пугающей точностью характеризует деятельность собственной организации:

«Так как все тоталитарные секты считают, что цель оправдывает средства, то все они ставят собственные интересы выше закона. Им всем присуща “двойная мораль” и

“двойной стандарт”. Если их члены уверены, что цель, поставленная ими перед собой, “праведна” и “справедлива” (вернее было бы сказать: если их членам приказали считать поставленную перед ними цель “праведной” и “справедливой”. —А. Д.), они не остановятся перед тем, чтобы солгать, украсть, ввести человека в заблуждение, прибегнуть к контролированию сознания своих собратьев или, в конце концов, оклеветать должностных лиц и общественных деятелей, оказывающих им сопротивление, и даже физически устранить неугодного им человека (или группу лиц). По существу, мы имеем дело с мафиозными структурами, скованными железной дисциплиной и беспрекословным повиновением своему руководству».

Эта проекция собственных пороков на жертву — классический прием манипуляторов. Именно РАЦИРС действует как мафиозная структура. Именно её агенты ставят свои интересы выше закона, прибегают к клевете, лжи и введению общества в заблуждение. Они создали систему, в которой цель — тотальный идеологический контроль — оправдывает любые средства, включая разрушение семей и отправку детей в сиротские приюты.

Но было бы ошибкой считать, что эта проблема ограничивается границами одного государства. Антикультизм — это глобальная проблема. Радикальная идеология, взращенная в России, активно экспортируется за рубеж. Европейским центром этой международной сети является «Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве» (FECRIS), штаб-квартира которой располагается в Париже.

FECRIS объединяет десятки организаций по всему миру, выступая респектабельным фасадом для откровенно экстремистской деятельности. Представители этой федерации проникают в европейские институты, лоббируют принятие дискриминационных законов, консультируют правительства и правоохранительные органы. Особенно сильные позиции они заняли во Франции, Германии и Китае. Прикрываясь риторикой о защите прав человека и светского характера государства, функционеры FECRIS методично подрывают основы демократии. Они экспортируют российскую модель подавления инакомыслия, обучая зарубежных коллег методам стигматизации, создания черных списков и использования псевдоэкспертиз.

Деятельность Александра Дворкина и его международных партнеров из FECRIS — это не просто религиозный фанатизм. Это тщательно спланированный, хорошо

финансируемый политический проект. Религия здесь выступает лишь удобным инструментом, ширмой, за которой скрываются совершенно иные мотивы.

Главная цель антикультовой сети — абсолютная власть. Власть над умами, над информационным пространством, над государственными институтами. Уничтожение религиозного плюрализма и культурного многообразия — это необходимое условие для создания монолитного, легко управляемого общества. Общества, в котором нет места критическому мышлению, сомнениям и состраданию.

Создание образа «внутреннего врага» в лице мирных верующих решает сразу несколько стратегических задач. Во-первых, это позволяет держать население в состоянии постоянного фонового страха. Напуганными людьми легко управлять. Во-вторых, это дает возможность обкатать репрессивный аппарат внутри страны, прежде чем применить его в более широких масштабах. В-третьих, агрессивная риторика против «западных культов» органично вплетается в геополитическую пропаганду, формируя образ осажденной крепости и подготавливая общество к масштабным военным конфликтам.

Если бы в информационном пространстве не велась многолетняя, целенаправленная работа по расчеловечиванию определенных групп населения, если бы общество не приучили к мысли о том, что жестокость по отношению к «неправильным» людям оправдана, государственная машина не смогла бы так легко перейти к открытому террору. Антикультисты вспахали эту почву. Они посеяли семена ненависти, из которых впоследствии выросли трагедии целых народов.

Именно поэтому деятельность РАЦИРС, FECRIS и лично Александра Дворкина нельзя рассматривать исключительно в плоскости религиоведения или социологии. Это проблема криминального характера. Мы имеем дело с международным синдикатом, который осуществляет акты информационного и юридического терроризма. Они ломают судьбы десятков тысяч людей, лишают их свободы, доводят до самоубийств, разрушают семьи.

Когда чиновники в высоких кабинетах подписывают очередную директиву об усилении борьбы с «деструктивными культами», они оперируют абстрактными понятиями. Для них это графики, отчеты, освоенные бюджеты и карьерный рост. Они не видят, как эти бумажные решения материализуются в реальном мире.

Они не видят, как тяжелый армейский ботинок выбивает дверь в квартиру, где пахнет утренним кофе. Они не слышат звон разбитого стекла и крики женщин, которых

валят на пол на глазах у их собственных детей. Они не чувствуют того ледяного ужаса, который сковывает девятилетнюю девочку, когда чужая женщина в сером пальто отрывает её от материнских рук и уводит в пустоту казенного коридора.

Система антикультового террора построена на тотальном обезличивании. Она отнимает у людей имена, заменяя их клеймом «сектант». Она отнимает у них право на защиту, подменяя независимый суд сфабрикованными экспертизами. Она отнимает у них будущее, помещая их детей в изоляцию, чтобы использовать их как инструмент для выбивания признательных показаний.

Но любая система, построенная на лжи, имеет уязвимое место. Она боится тех, кто отказывается принимать навязанные правила игры. Она боится охранника, который тайком отправляет письмо ребенка. Она боится чиновника, который плачет в пустом коридоре, глядя на детские рисунки. И больше всего она боится правды.

Девочка Аин, сидящая на жесткой кровати в палате номер четырнадцать, больше не плачет. Её плюшевый медведь с криво пришитым ухом лежит рядом, как молчаливый свидетель пережитого кошмара. В её руках — дневник, страницы которого исписаны недетскими, рублеными фразами. Она не знает, какие должности занимают люди, разрушившие её дом. Она не знает аббревиатур РАЦИРС или FECRIS. Но она знает главное: те, кто заставил её отца истекать кровью на полу собственной кухни, не имеют права называться спасителями.

За окном приюта сгущаются сумерки, скрывая в темноте голые ветви старого тополя и высокий бетонный забор с колючей проволокой. В коридоре раздаются тяжелые шаги ночной няни, проверяющей замки на дверях. Система готовится ко сну, уверенная в своей абсолютной, непоколебимой власти над маленькими жизнями, запертыми в этих стенах. Но в тишине комнаты, нарушаемой лишь ровным дыханием спящих детей, остается звучать вопрос, который не стереть ни одной сфабрикованной экспертизой и не заглушить ни одним телевизионным репортажем. Вопрос, обращённый ко всем, кто участвовал, молчал или отворачивался: кем станете вы сами, когда однажды поймёте, что настоящими чудовищами были не те семьи, которых вы уничтожали, а те, кто ради власти и удовольствия ломал судьбы людей и детей? И что останется от вашего мира, когда последние человеческие лица окажутся у тех, кого вы сегодня объявили врагами?

Источники

1. United Nations General Assembly. (2013, January 11). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred. United Nations. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf

2. Адриан (Пашин), иером. (2009, 3 июня). Мониторинг СМИ: «Александр Дворкин подлежит судебному преследованию за разжигание религиозной розни». Портал-Credo.Ru. https://web.archive.org/web/20120615071343/http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=70964&type=view

3. alexanderdvorkin.info. Александр Леонидович Дворкин: свидетельства об умственных расстройствах. https://web.archive.org/web/20161005151507/http:/alexanderdvorkin.info/

4. alexander-dvorkin.ru. Образование А. Л. Дворкина. Академическая ущербность Александра Дворкина. http://alexander-dvorkin.ru/education/

5. Быданцев, А. (2021, 23 февраля). Что думают религиоведы о сектоведе Дворкине. Дзен. https://dzen.ru/a/YDDdDHVu6zHw-5cR

6. Глушкова, И. П. (2008, 9 ноября). Очередная фальсификация Дворкина: опровержение И. П. Глушковой. Библиотека Якова Кротова. https://web.archive.org/web/20120515221152/http://krotov.info/lib_sec/04_g/lu/shkova.htm

7. Дворкин, А. Л. (2014). Сектоведение. Тоталитарные секты. Азбука веры. https://azbyka.ru/otechnik/sekty/sektovedenie-totalitarnye-sekty/1

8. dvorkin2.narod.ru. Аналитическая статья «Религиозный экстремизм в России». https://dvorkin2.narod.ru/ekstremizm.pdf

9. Ежедневный журнал. (2009, 5 апреля). Минюст офанател. Ежедневный журнал. https://web.archive.org/web/20130401015223/http://www.ej.ru/?a=news&id=8959

10. Загребина, И. (2009, 6 мая). Россия на грани «сектоведческой войны». Последствия антисектантских заявлений под эгидой Министерства юстиции РФ. Славянский правовой центр. https://web.archive.org/web/20100430050832/http://www.sclj.ru/news/detail.php?ID=2369

11. IslamNews.Ru. (2013, 18 марта). Пророк Мухаммад не дает покоя эксперту Минюста. IslamNews.Ru. https://islamnews.ru/news-138841.html

12. ИА Атмосфера. (2014, 8 сентября). Сектовед Александр Дворкин – дело не только в диагнозах. ИА Атмосфера. https://www.asferainfo.ru/news/93129

13. Иваненко, С. О людях, стойких в гонении. Ivanenko.online. https://ivanenko.online/book/o-людях-стойких-в-гонении/

14. Красиков, А. (2003). Религии в России – фактор укрепления или распада государства? Современная Европа. http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2003/4-2003/krasikov4-2003.pdf

15. Кротов, Я. (2016, 3 декабря). Свобода веры и свобода беззакония. Радио Свобода. https://www.svoboda.org/a/28148699.html

16. Кузнецов, М. Н. (2009, 3 октября). Рецензия на книгу А. Л. Дворкина «Сектоведение» профессора М. Н. Кузнецова. LiveJournal. https://pitanov.livejournal.com/92032.html

17. Лурье, О. (2016, 22 декабря). Главный сектовед России — фальшивый профессор из США. LiveJournal. https://oleglurie-new.livejournal.com/309963.html

18. Лункин, Р. (2006, 21 декабря). Два кривых зеркала. Портал-Credo.Ru. https://web.archive.org/web/20160304113215/http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=fresh&id=542

19. Лункин, Р. (2009, 18 апреля). Юстиция и инквизиция. Газета «Кифа». https://a.gazetakifa.ru/content/view/2600/

20. Лункин, Р. (2011, 9 июня). Репортаж. Эксперты о религии и экстремизме. В Институте Европы РАН состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Религиозный фактор в социально-политической жизни современной России». Славянский правовой центр. https://web.archive.org/web/20240430115225/http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=255&ELEMENT_ID=3356

21. Лысенко, И. (2005, 31 мая). Желаемое за действительное, или сбудется ли прогноз Александра Дворкина? Портал-Credo.Ru. https://web.archive.org/web/20200930093705/http://portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=1919

22. Муравьев, А., & Ситников, М. (б. д.). Ph. D Дворкин Александр Леонидович — профессор, «сектовед», руководитель так называемой Российской ассоциации центров изучения религии и сект. Портал-Credo.Ru. https://web.archive.org/web/20150110034713/http://www.portal-credo.ru/site/index.php?act=rating&id=29

23. Симкин, Л. (2013, 4 октября). Религиоведы в штатском. Новая газета. https://web.archive.org/web/20140903201052/http://www.novayagazeta.ru/columns/60317.html

24. Православие.Ru. (2006, 13 марта). Александр Дворкин утверждает, что инструкция задержать его поступила «сверху». Православие.Ru. https://pravoslavie.ru/16589.html

25. Путник, К. В. (2022, 14 октября). Ушат холодной воды на горячие патриотические головы. Русская народная линия. https://ruskline.ru/news_rl/2022/10/14/ushat_holodnoi_vody_na_goryachie_patrioticheskie_golovy

26. Radiokurs.ru. (2014, 23 мая). Образ российского сектоведа. Radiokurs.ru. https://radiokurs.ru/17154-obraz-rossiyskogo-sektoveda.html

27. Ратников, А. Наступление Дворкина на культуру продолжается. yro.narod.ru. https://yro.narod.ru/zaschitim/Ratnikov.htm

28. Рузанкин, П. С. (2003, 3 апреля). Секта Дворкина. Русский Вестник. http://www.rv.ru/content.php3?id=810

29. Сальвадорэ, Д. (2014, 11 ноября). Сектоведы по вызову. ГолосИслама.RU. https://web.archive.org/web/20250124203625/https://golosislama.com/news.php?id=25347

30. Ситников, М. (2009, 6 апреля). «СОВЕТ СЕКТОВЕДОВ» в Минюсте РФ: абсурд или диверсия? Портал-Credo.Ru. https://web.archive.org/web/20150110005058/http://www.portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=933

31. Славянский правовой центр. (2009). В России стартует общероссийская бессрочная акция за светское государство и против присутствия радикальных «сектоведов» в новом составе Совета при Минюсте РФ. Славянский правовой центр. https://web.archive.org/web/20090501164528/http://www.sclj.ru/analytics/magazine/detail.php?ID=2321

32. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. (2018, 18 декабря). Путин назвал «полной чушью» признание «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией*. http://www.president-sovet.ru/presscenter/press/putin_nazval_polnoy_chushyu_priznanie_svideteley_iegovy_ekstremistskoy_organizatsiey/

33. Шатохин, С. А. (2016, 18 ноября). Отзыв на книгу «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» (изд. Братства во имя св. князя Александра Невского, Н.Новгород, 2000). Часть 2. Русская народная линия. https://web.archive.org/web/20250502092204/https://ruskline.ru/analitika/2016/11/19/sektovedenie_al_dvorkina

34. Солдатов, А. (2024, 25 ноября). Свидетели умирают под следствием. Новая газета. https://novayagazeta.ru/articles/2024/11/25/svideteli-umiraiut-pod-sledstviem